

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ



ПРОЗА

Annotation

Сборник прозаических произведений Велимира Хлебникова.

Составитель А. В. Диенок.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

- Велимир Хлебников
 - Автобиографическая заметка*
 - «Пусть на могильной плите прочтут...»*
 - Курган Святогора*
 - Велик-день*
 - Око*
 - Жители гор*
 - «Лубны своеобразный глухой город...»
 - «Коля был красивый мальчик...»*
 - Охотник Уса-Гали*
 - Николай*
 - Закаленное сердце*
 - Ка*
 - Скуфья скифа*
 - Письмо двум японцам*
 - «Нужно ли начинать рассказ с детства?...»*
 - <Октябрь на Неве>*
 - Астраханская Джиоконда*
 - Художники мира!*
 - Есир*
 - Всем! Всем! Всем!*
 - Малиновая шашка*
 - «Про некоторые области...»
 - Перед войной*
 - Ветка вербы*
 - Кол из будущего*
 - Мы и дома
 - Лебедия будущего
 - Радио будущего

- [Утес из будущего](#)
 - [Комментарии](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
-

Велимир Хлебников
Проза

Автобиографическая заметка*

Родился 28 октября 1885 в станс монгольских исповедующих Будду кочевников – имя «Ханская ставка», и степи – высохшем дне исчезающего Каспийского моря (море 40 имен). При поездке Петра Великого по Волге мой предок угощал его кубком с червонцами разбойничьего происхождения. В моих жилах есть армянская кровь (Алабовы) и кровь запорожцев (Вербицкие), особая порода которых сказалась в том, что Пржевальский, Миклухо-Маклай и другие искатели земель были потомк<ами> птенцов Сечи.

Принадлежу к месту Встречи Волги и Каспия-моря (Сигай). Оно не раз на протяжении веков держало в руке весы дел русских и колебало чаши.

Вступил в брачные узы со Смертью и, таким образом, женат. Жил на Волге, Днепре, Неве, Москве, Горыни.

Перейдя перешеек, соединяющий водоемы Волги и Лены, заставил, несколько пригоршней воды проплыть вместо Каспийского моря в Ледовитое.

Переплыл залив Судака (3 версты) и Волгу у Енотаевска. Ездил на необузданных конях чужих конюшен.

Выступил с требованием очистить русский язык от сора иностранных слов, сделавши все что можно ждать от 10 стр<ок>.

Напечатал: «О, рассмейтесь, смехачи», в 365/48 дал людям способы предвидеть будущее, нашел закон поколения; «Девий бог», где населил светлыми тенями прошлое России; «Сельскую дружбу», через законы быта люда прорубил окно в звезды.

Некогда выступил с воззванием к сербам и черногорцам по поводу Босно-Герцеговинского грабежа, отчасти оправдавшимся через несколько лет, в балканскую войну, и в защиту угророссов, отнесенных немцами в разряд растительного царства.

Материк, просыпаясь, вручает жезл людям морских окраин.

В 1913 году был назван великим гением современности, какое звание храню и по сие время.

Не был на военной службе.

1914

«Пусть на могильной плите прочтут...»^{*}—

Пусть на могильной плите прочтут: он боролся с видом и сорвал с себя его тягу. Он не видел различия между человеческим видом и животными видами и стоял за распространение на благородные животные виды заповеди и ее действия «люби ближнего, как самого себя». Он называл неделимых благородных животных видом своими ближними и указывал на пользу использования жизненного опыта прошлой жизни наиболее древних видов. Так, он полагал, что благу человеческого рода соответствует введение в людском обиходе чего-то подобного установлению рабочих пчел в пчелином улье, и не раз высказывал, что видит в идее рабочей пчелы идеал свой лично. Он высоко поднял стяг галилейской любви, и тень стяга упала на многие благородные животные виды. Сердце, плоть современного порыва человеческих сообществ вперед, он видел не в князь-человеке, а в князь-ткани – благородном коме человеческой ткани, заключенном в известковую коробку черепа. Он вдохновенно грезил быть пророком и великим толмачом князь-ткани, и только ее. Вдохновенно предугадывая ее волю, он одиноким порывом костей, мяса, крови своих мечтал об уменьшении отношения ε/ρ , где ε – масса князь-ткани, ρ – масса смерд-ткани, относительно себя лично. Он грезил об отдаленном будущем, о земляном коме будущего, и мечты его были вдохновенные, когда он сравнивал землю с степным зверком, перебегающим от кустика до кустика. Он нашел истинную классификацию наук, он связал время с пространством, он создал геометрию чисел. Он нашел славяний, он основал институт изучения дородовой жизни ребенка. Он нашел микроб прогрессивного паралича, он связал и выяснил основы химии в пространстве. Довольно, сему да будет посвящена страница, и их несколько.

Он был настолько ребенок, что полагал, что после пяти стоит шесть, а после шести – семь. Он осмеливался даже думать, что вообще там, где мы имеем одна и еще одно, там имеем и три, и пять, и семь, и бесконечность – ∞ .

Впрочем, он никому не навязывал своего мнения и, считая его своим лично, признавал священнейшее право всякого иметь мнение противных свойств.

(О пяти и более чувствах.)

Пять ликов, их пять, но мало. Отчего не: одно оно, но велико?

Узор точек, когда ты заполнишь белеющие пространства, когда населишь пустующие пустыри?

Есть некоторое много, неопределенно протяженное многообразие, непрерывно изменяющееся, которое по отношению, к нашим пяти чувствам находится в том же положении, в каком двупротяженное непрерывное пространство находится по отношению к треугольнику, кругу, разрезу яйца, прямоугольнику.

То есть как треугольник, круг, восьмиугольник суть части плоскости, так и наши слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные ощущения суть части, случайные обмолвки этого одного великого, протяженного многообразия.

Оно подняло львиную голову и смотрит на нас, но уста его сомкнуты.

Далее, точно так, как непрерывным изменением круга можно получить треугольник, а треугольник непрерывно превратить в восьмиугольник, как из шара в трехпротяженном пространстве можно непрерывным изменением получить яйцо, яблоко, рог, бочонок, точно так же есть некоторые величины, независимые переменные, с изменением которых ощущения разных рядов – например, слуховое и зрительное или обонятельное – переходят одно в другое.

Так, есть величины, с изменением которых синий цвет василька (я беру чистое ощущение), непрерывно изменяясь, проходя через неведомые нам, людям, области разрыва, превратится в звук кукования кукушки или в плач ребенка, станет им.

При этом, непрерывно изменяясь, он образует некоторое одно протяженное многообразие, все точки которого, кроме близких к первой и последней, будут относиться к области неведомых ощущений, они будут как бы из другого мира.

Осветило ли хоть раз ум смертного такое многообразие, сверкнув, как молния соединяет две надувшихся тучи, соединив два ряда переживаний в воспаленном сознании большого мозга?

Может быть, в предсмертный миг, когда все торопится, все в паническом страхе спасается бегством, спешит, прыгает через перегородки, не надеясь спасти целого, совокупности многих личных жизней, но заботясь только о своей, когда в голове человека происходит то же, что происходит в городе, заливаемом голодными волнами жидкого, расплавленного камня, может быть, в этот предсмертный миг в голове всякого с страшной быстротой происходит такое заполнение разрывов и рвов, нарушение форм и установленных границ. А может, в сознании всякого с той же страшной быстротой ощущение порядка *A* переходит в ощущение порядка *B*, и только тогда, став *B*, ощущение теряет свою скорость и становится уловимым, как мы улавливаем спицы колеса лишь тогда, когда скорость его кручения становится менее некоторого предела. Самые же скорости пробегания ощущениями этого неведомого пространства подобраны так, чтобы с наибольшей медлительностью протекали те ощущения, которые наиболее связаны положительно или отрицательно с безопасностью всего существа. И таким образом были бы рассматриваемы с наибольшими подробностями и оттенками. Те же ощущения, которые наименее связаны с вопросами существования, те протекают с быстротой, не позволяющей останавливаться на них сознанию.

24 ноября 1904

Курган Святогора*

I

Отхлынувшее море не продышало ли некоего таинственного, не подслушанного никем третьим, завета народу, восприявшему в последний час, сквозь щель кремового гроба, восток живого духа, распятого железной порой воителя? Народу, заполнившему людскими хлябями его покинутое, остывающее от жара тела первого воителя ложе, осиротелый, женственно мореём?

Благословляй или роси яд,
Но ты останешься одна.
Завет морского дна
Россия.

Точно. Своими ласками передала нам Вдова лик первого и милого супруга. Щедро расточаемыми ласками создала кумир целящий. Так мы насельники и наследники уступившего нам свое ложе северного моря.

Мы исполнители воли великого моря.

Мы осушители слез вечно печальной Вдовы.

Должно ли нам нести свой закон под власть восприявших заветы древних островов?

И широта нашего бытийственного лика не наследница ли широт волн древнего моря?

II

Конечно, правда взяла звучалью уста того, кто сказал слова суть лишь слышимые числа нашего бытия. Не потому ли высший суд славобича. Всегда лежал в науке о числах? И не в том ли пролегла

грань между былым и идущим что водим ныне и познания от «древа мнимых чисел»?

Полюбив выражения вида $\sqrt{-1}$, которые отвергали прошлое, мы обретаем свободу от вещей.

Делаясь шире возможного, мы простираем наш закон над пустотой, то есть не разнотствуем с богом до миротворения.

III

Буй волит видеть свой лик в буйовичах.

И не злой ли ворожкой висит над нашей славобой тень северного моря, не узнающая в сыне лика своего отца? И не признающая в сыне сына?

И не в нас ли воскликнула земля: «О, дайте мне уста! Уста дайте мне!» И дали ли мы ей уста?

И не в несчетный ли раз одетая в грусть, телесатая равниной Вдова спрашивает: «Вот тело милого супруга. Но где его голос? Так как вижу милые уста, зачарованные злой волей соседних островов, молчашие или вторящие крику заморских птиц, но не слышу голос милого». Да. Русская славоба вторила чужим доносившимся голосам и оставляла немым северного загадочного воителя, народ-море.

И самому великому Пушкину не должен ли быть сделан упрек, что в нем звучащие числа бытия народа – преемника моря, заменены числами бытия народов послушников воли древних островов?

И не должны ли мы приветствовать именем «первого русского, осмелившегося говорить по-русски» – того, кто разорвет злые, но сладкие чары и заклинать его восход возгласами: «Б-у-ди! Б-у-ди!»

IV

Мы ничего не знаем, ничего не предсказываем, мы только с ужасом спрашиваем: ужели пришло время, ужели он?

V

Вот он шумит своими ветвями, и не окружим ли мы его порослью молодых древ?

VI

Всякое средство не волит ли быть и целью? Вот пути красоты слова, отличные от его целей. Древо ограды диет цветы и само.

VII

И останемся ли мы глухи к голосу земли: «Уста дайте мне! Дайте мне уста!» – Или же останемся пересмешниками западных голосов?

VIII

И хитроумные Евклиды и Лобачевский не назовут ли одиннадцатую нетленных истин корни русского языка? В словах же увидят следы рабства рождению и смерти, назвав корни – божьим, слова же – делом рук человеческих.

И если живой и сущий в устах народных язык может быть уподоблен доломерию Евклида, то не может ли народ русский позволить себе роскошь, недоступную другим народам, создать язык – подобие доломерия Лобачевского, этой тени чужих миров? На эту роскошь русский народ не имеет ли права? Русское умничество, всегда алчущее прав, откажется ли от того, которое ему вручает сама воля народная права словотворчества?

Кто знает русскую деревню, знает о словах, образованных на час и живущих веком мотылька.

И не значит ли, что боги унесены из храма, если безбоязненно в ряды молящихся замешиваются иноверцы? И выполняют требы?

Пренебрегли вы древней дланью,
Благословившей вас в купели,
И живы жертвенные лани,

Мечи жреца чтоб не тупели

IX

И не должно ли думать о дебле, по которому вихорь-мнимец емлет разнотствующие по красоте листья – славянские языки, и о сплюсненном во одно, единый, общий круг, круге-вихре – общеславянском слове?

X

Конечно, Жена, телесатая северной равниной, приемлет нежного супруга, алча ласк первого, и не этим ли таинственно ваяет его лик, силой женской чары, в лик первого и милого мужа – морского моря?

Так изменяемся мы, уподобляясь первому, чтобы заслужить великих милостей у облеченной в равнину Вдовы.

И когда родимые второму морю пройдут пред восхищенным взглядом светлые горы, восставляя свой ледяной закон и рокот, не следует ли предаться непорочной игре в числа бытия своего, чаруя ими себя, как родом новой власти над собой, и прозревая сквозь них великие изначальные числа бытия-прообраза? И сии славоги, гордо плывучие на смену чужеземным снегам... Так как не на хлябях ли морских рождаются самые большие ледяные горы каким не бывать на суше? – Не наполнят ли они нашу душу трепетом и гордостью вещей?

И не станем ли мы тогда народом божичей, сами зоревея вечностью, а не пользуясь лишь отраженным?

Обратимте наши очи к лучам земных воль; если же мы воспользуемся заимствованным светом, то на нашу долю останется навий свет, добрые же лучи останутся на потребу соседним народам.

Мы не должны быть нищи близостью к божеству – даже отрицаемому, даже лишь волимому.

XI

И если человечество всё еще зелень, трава, но не дает на таинственном стебле, то можно ли говорить, пророча, о<б> осени, жёлтыми листьями отрываясь от сил бесконечного? Или же, слыша песнь, следует посмотреть на небо; не жаворонок ли первый? И даже мертвое или кажущееся таким не должно ли прозреть связью с бесконечным в эти дни?

XII

О, станем же верны морскому супругу Жены, нашему прообразу, совооруженному с нами латами – море, конем – тысячелетний рокот, щитом – водянистость существа. Он же вдохнул в нас дыхание иной поры, поры иных могачей, богачественной иной мощью. Вдова ваяет в нас лик: пред ее волей мы должны преклониться.

Конец 1908

Велик-день*

(Подражание Гоголю)

– Сегодня Велик-день; одень хустку; гарнесенькой станешь, – уныло говорила жинка, работая ухватом у печи и обращаясь к молодой девушке, сидевшей у окна, расчесывая свои волосы и закидывая назад голову.

– Хиба я не знаю? – недовольно отвечала та, подымая руку, чтобы расправить непокорную прядь волос, змейкой щекотавшей грудь.

Сегодня Велик-день; в толпу малороссиянок вмешается она, дочь огня, одетая как они, и пойдет с ними в старинный высокий храм на высокой горе, окруженный столетней рощей и далеким видом лугов, сел, рек, где умер чтимый в сердцах.

И когда старинный золотобородый звонарь ударит в большие и малые колокола и голуби понесутся над миром, тогда медленно исчезнут они одна за другой в высоком темном входе.

Юный отрок, член какого-то темного союза, стоял и жадно всматривался в новый для него мир. Те, кто сражалась вместе с Игорем и плакали вместе с Ярославной, с умиленными и строгими лицами шли одни за другими в храм и несколько свысока оглядывали досужего паныча. Молодцеватые киреи висели на их плечах. И издали мелькали малиновые «богородицы», червонным сердцем врезанные в их воротниках. Все наводило на размышления... Он попал в почти совсем ему незнакомый уголок исконной России. Один и тот же вопрос, чуть не в сотый раз, недоуменно приходил в голову. Отчего этой одежды не носят русские? Должны ли лучшие народы оставлять одиноким народ в его борьбе за свои нравы и обычаи? И можно ли стыдиться той одежды, в которой сражались и умирали предки? Вид его собственных пуговиц, желтых, медных, однообразно болтающихся на своих местах, немного угнетал его. Почему бы ему не надеть этой стройной киреи с малиновой «богородицей», в которой ходили его предки? Недоумеая, переводил он взгляд с одного лица хорошенькой малороссиянки на другое и вдруг встретил улыбающийся

насмешливый взгляд дочери огня. Был у ней вокруг головы веночек из бумажных цветов и наместо из пышных зеленых и красных бус, только что-то было такое небесно-чертовское в глазах и очаровательно сложенных губах, что заставило произнести: «Э! Тут дело неспроста. Это или красивейшая из дочерей Украины, или дочь неба. Неладно и так и этак». Вздригнуло что-то в душе доброго молодца, заговорило и затрепетало на резных дубовых листьях его духа. Вздригнул он и по-другому, мужественно, с суровым укором, взглянул на сельскую волшебницу. На ее же лице было счастье и гордость сознания своей силы. Шепот и смех раздались кругом.

– Глядите, паныч! – щебетали одни из проказниц, другие же смешливо спрашивали: «А, цэ таке? – И, смеясь, отвечали: – И не знаем... цэ таке!»

В это время показался под руку с городской барышней парень, что учился в далекой туманной столице. Как подстреленная, затрепетала небесная панночка, увидев подходящих горожан. «Вот, – закричала она, показывая на него рукой. – Вот, – повторила она, задыхаясь и снимая повязку. И вдруг всплеснула руками и воскликнула: – Да что же это такое! Ужли мы, русские зори, не смеем лица показать от срама, в лицо посмотреть немецким? Да неужели нет хлопца постоять за нас? Гайдамаки! Гайдамаки!» И бросила веночек на пол, и закрыла лицо руками, и заплакала, и убежала. Тогда, оглянувшись кругом суровыми и грустными глазами, пошел за ней отрок, и было видно, как он перед ней, белой и боязливой, в темной глубине дубов произносил суровую клятву воина: постоять за родину и ее обычаи. «Обижена ты, оклеветана, и некому постоять за тебя», – твердил он себе. И сказал он себе: «Россия для русского обычая».

«Да кто вы, не хлопцы, что ли! – уже сквозь слезы произносила она. – Смотрите, кто вы, на что вы похожи». И отвернулась и надула губки. Хлопцы же почесывали сердито чубы и говорили: «Хоть и девчина, а не сказать бы худого, правду говорит. Ей-богу, правду!»

Между тем, как воробьи, уселись на завалинке местные эсдеки и эсдечки и щебетали о Каутском, как воробьи в солнечную погоду. И, проходя мимо них, панночка гневно стрельнула глазами и промолвила: «У-у, недобрые!»

В тот же вечер журила ее стара. «Что это тебя не видать, так долго было? Так нельзя! И еще накликаешь, на него беду, и будут его

пытать и щипцами горячими потчевать. Тебе-то нипочем, а ему каково? Ведь так уж бывало». – «Ни, мамо! – счастливо смеясь, отвечала панночка, – мы все это устроим».

<1911>

(Орочонская повесть)

Око́.

Брат! Ты, как красногорлый соловей, боишься своей красоты, робкий красавец. Разве не знаешь, отчего соленый бывает обед: то от слез моих солоня еда. Разве не знаешь, кто робко скрывается в зеленой чаще, когда ты купаешься? – это я прячусь в густых ивах.

Опять ты ушел, гордый и легкий, в лес, а я здесь сижу день одна-одинешенька. Ах, мне чужится, что где-то живут много людей, а не как мы одни вдвоем, брат и сестра. О, какое счастье жить, где много чужих людей, а не брат и сестра! О, если бы ты сказал мне: «Я люблю тебя, сестра!»

Да, ты часто говоришь: «Я люблю тебя, сестра», и ни разу меня не обидел, но ты говоришь на совсем другом, незнакомом языке.

О, если б здесь было много братьев чужих и не родных, какое то было бы счастье! Я бы припала с поцелуями к каждому праху их ног! Я бы дрожала, как береза от удара, от их взгляда. Я бы каждого спросила ранней! ночью, темной осенью: «Брат! ты любишь меня?»

Мои бы глаза были бы широки и бездонны, как темные озера, а вся я дрожала бы и смеялась от счастья. А если бы в ответ он насмешливо засвистел, как брат, я бы вся покрылась слезами от отчаянья. Бедная я, бедная я, несчастная! Ах! когда вечером я сижу у огня, какие движения струятся по моему телу. Так осиновый лес дрожит от приближающегося ветра. Как я умела бы плясать! Все ветры осенние и весенние сгибали и наклоняли бы мое тело.

Как сгибается в огне береста, так сгибалась бы я перед вашими взорами, братья. Я подслушала все изломы голосов незнакомых мне птиц и падение вниз чистой воды и все это передала бы в страстной песне! Я бы сковывала руки пожатьем и расковывала их и сплясала бы пляску огня перед пламенными бурей взглядами.

Брат! Брат, полюби меня!

Что с тобой? Ты говоришь кому-то и улыбаешься. Это не я...

– Так! так! ты просишь, чтобы я тебя полюбил? Разве я тебя обижаю?

– Обижает? Обижает! Разве я не красива? Разве я не прелестна? Зачем ты на меня не взглянул другими глазами, как будто т<игр> тебе брат? Смотри, смотри, что скрывают одежды? Поверь этим грудям, которые просят словами более звонкими, чем крик несчастья или восхищения. Вот!

– Что с тобою? Ты сходишь с ума? Что ты говоришь, сестра! Что с тобой?

– Я люблю тебя! Не веришь? Не веришь? Сердишься? Сердишься! Не сердись, прости меня, я тебя люблю. Ты – как небо перед молнией.

– Еще бы не сердиться! Чистая, как снег, – я всегда так думал о тебе, и вдруг слова змеи, ужален я ими в самое сердце. Зачем ты, как паук, прядешь какие-то сети. Знай – оба умрем и погибнем в них. Оставь это, забудь, сестра!

– Прости меня, брат, прости. Забудь, как будто этого дня не было. Прости меня.

Он все поет о каких-то двух солнцах, убитых предком. Будто они упали в море и погасли, а третье осталось, и всем стало легче жить. Разве могут быть три солнца? Но все-таки сказочно прекрасное зрелище того, как гибнет каменное солнце от легкого стрелка. Как шипело море! Сколько брызг летело во все стороны! Как брошенные головни, гасли в воде громадные солнца. Это было вот так (берет из костра головню и привешивает к березе, висящей над рекой; стреляет из лука, и головня падает в воду). Ночью это было бы еще восхитительнее. Но может ли солнце быть ночью? Почему не может: ведь голубые глаза любящего – это солнце днем, а влюбленные глаза черного цвета – солнце ночью. Может! А люди были таинственны и горды, как мой брат, которого не поймешь. А мы хитры и умны, как я.

Хорошо же, Злой! Увидишь! А если придет, пусть подумает, что я выстрелила в небо и на стреле взобралась до туч.

О, ручей, я иду к счастью. Отбелки, я иду к счастью! Не задевайте о мои ноги, травки, не замедляйте счастья.

Дойду ли я так? Нет, нужно бежать до той поляны, где я поставлю жильё.

Не шуми, вода, так громко, я иду к счастью!

Заплетайтесь в мои ноги, цветы!

Нежьте и услаждайте слух, птахи!
О, если бы медведь помог мне!
О, если бы рысь принесла вотки!
Нет, сама я должна срубить шалаш, где буду сидеть одна, смеясь.
Вот и готово. Как быстро.
Не успела оглянуться.
Теперь положу берестяной черпак и черепа зверей. И оставлю
кругом следы. Точно не первый день, здесь живет.
Нет, лучше пусть цветы и травы будут нетронуты вокруг шалаша.
Здесь я встречу тебя, милый.
Ах, брат идет! Точно. Отвернусь от него и тело буду умывать.
Расстанемся надолго.

1912

Жители гор*

Суровые очертанья грозного кремля гор, точно круто искривленные брови старообрядцев при встрече с Кучумом, ослепительные одноугольники с льдистыми глазами, устремленными кверху, и мутное серебро рек в зеленых тканях, будто белые девы свадьбы, смеясь и гуторя, надели зеленые венки, поют и поднимают сорванные ветви, водопад – нить жемчугов вдоль гордого, полного хищного предвкушения, счастья, горла невесты, закат-уманец с сверкающей саблей, по зову Острицы поднявшись в поход, и вы, голубые небеса, и две голубых боярышни, смеющиеся и шушукающиеся друг с другом, и могучий кряж, как русская порода, восставшая для защиты земли в дни Грюнвальда, и белый, окаймленный молнией, камень с прямыми чертами, падающими во все стороны из одной точки, власть московского государя среди Новгорода, Пскова и Литвы, и Польши, и гремучая широкая река – все окружало белого государя, толпилось к нему, уносило его живую силу речным сильным потоком и молилось на него или било покорно челом, простершись у подножья.

Темные ущелья, темные, как старцы в поддевках поморского согласия, сумраком вникали в этот зелёный и белый вершинами мир.

И потемневшие от времени лики скрывались в окладе меловых пород.

И снега – строгие платки старообрядческих девушек.

Как красная кумачовая рубаха мужика, горело одно облако. Сеет он одной рукой семена – Лучи, а другой держит лукошко с солнечным зерном. И как помертвевшее лицо узнавшего о смерти жены – снежные змеи окраин других туч, а над ними закат – червонорусска, спешащая через Лысую гору в великий день к Киеву.

Черные кудрявые дубы покрывали кряжи.

И хата лепилась над бездной с той стороны, откуда идут монголы. Там Коссовским полем спускался вниз шелом – разбитый на части утес.

На высокий утес взлетал орел и садился, как русский на престол Византии, как Управда.

И прямые черты возносили срединный могучий камень, точно воины Куликовское поле.

Так, как обломки жизни русских, толп<ились> и громоздились части горного темного мира, и по всему этому бродили светлые взоры ока. Близок был вечер и темнел, и опускался.

Как суровые души сжигавших себя из-за переставленного звука, высились камни. Здесь жили русские.

Над пропастью стояла девушка и пела.

Сноп трав и цветов был в ее руке, а в глазах блестело и колыhalось далекое синее море.

Так, как разум мыслителя на <туманном> ха<осе> мира, так лепилась хата, из нее исходил дым, и оттуда сошел человек.

Рога оленя были за его плечами и пятна свежей крови на гачах.

– Легинь?

– Да?

Гремучий водопад, летя вечной стрелой вихрем вниз, заглушил его слова.

Но он с новой страстью воскликнул: «Я люблю тебя, солодка!» – и задрожал.

Заунывные, извилистые, певуче однообразные звуки несущихся волн прервали его речь и ее ответ, птица с пронзительным криком пронеслась над ними.

Но он с <новой> силой воскликнул:

– Я люблю тебя!

Старуха, стоявшая у входа в хату, поднесла руки к глазам и произнесла: «Иль сокел наш горлинку гонит».

Но засмеялась сестра и сказала: «Нет, он голубь, а она – соколица».

Но лишь молча посмотрела на нее и снова отвернулась от него.

И запел он песнь и пошел прочь.

Люли, люли,
На войне летают пули.

И мгла окружила их, и, вздохнув чему-то, пошел по знакомой тропе домой.

Казалось ей, она видит белого как лунь старца с <глазами> <звездами>, и перед ним, как злой должник, стоит черный медведь и ждет, когда вынет старец краюху хлеба.

Иль видела себя матерью, великоглавой, кроткой, и на руках у ней дитя, а на<д> ни<ми> зве<зда> и не<бо>, и идут по<клониться> волхвы.

Нельзя было видеть и свои руки в молочной мгле.

И вдруг кто-то наклонился над ней и жарко поцеловал в щеку.

– Стыдись! – воскликнула она и подняла руку, но уже никого не было, и только молочная мгла окружала ее.

Да кто-то злобно и мстительно захохотал.

Свистел последний дрозд, синий с серым верхом.

Стоят в воде ночные латы.

Уж «ау» кричат из хаты.

Мертвый олень лежит у порога, и злорадно, погрузивши руки в кровь и свежую тушу, смотрит на нее Артем.

Но лишь молча взглянула на него она и пошла к себе.

Скоро огонь, освещавший окно, погас, прозрачность ночи пришла снизу и одела горы. И, как под скобку остриженные волосы, выступили резкие края и тростниковая крыша над мазанки белой стеной.

Пытливо взглянул на нее отец и сказал.

– А он, слышь, принес трех орлят хочет приручить их и летать на них по небу.

– Разобьется мальчик.

– Разобьется, говоришь?

И южная ночь сделала из них, сонных, трупы.

Но одного терзали злой дух или сон, как облако время, за которым мерцает луч счастья грешного и знойного, где сложены одежды, где с хохотом купались и брызгались водой молодость.

И утро застало ручей сбегаящим, зелено-белым, птиц распеваящими, а <она> шла с ружьем на плече к ручью.

Медленно, оглянувшись, не смотрит ли за ней кто-нибудь, она снимала с себя сорочку и в это время была прекраснее, чем когда-либо. Рука была поднята кверху, и только голова скрывалась под покровом. После, доверившись, сняла с себя все и вошла в воду и

поплыла. И в это время над ней раздался веселый свист: с ружьем проходил по горной тропинке и весело свистел, глядя сверху.

Как туман ранним утром, белелось ее тело, и подняла гневные глаза на него и крикнула из воды:

– Иди, постылый!

Но летел хищник, рыдая по выстрелу, и темный коршун с окровавленным клювом хватая когтями песок упал к ее ногам.

И, беспечно засвистав, ушел он на охоту.

И, возвращаясь с горным козлом, он увидел ее в стройном наряде с ножом длинным и узким на поясе в черной кожаной оправе. Улыбнулся он и посмотрел на нее.

Но она отвернулась и лукаво нахмурилась.

И ушла в чащу, будто зовущая и, робкий он последовал за ней.

Искося молча оглядывалась она и шла дальше, точно звала и вот на зеленой поляне стала собирать хворост.

Сейчас наклонялся и подымался ее белоснежный затылок над травой.

И иногда на нем останавливала большие расширенные глаза.

Он подошел к ней и взял ее за плеч<и>.

И тогда с глухим криком «гож нож» она вырвала из-за пояса меч он взвился и опустился в плечо и оцарапал грудь.

Но он улыбнулся презрительно и прижимал ее к себе и снова осыпал поцелуями.

И птицы испуганно слетались и смотрели на эту битву двух тел.

И вот она была окровавлена, потому что нечаянно порезала руки, а он прижимался к ней и обнимал руками, лепеча что-то. И, закрыв лицо рукой, разрыдалась.

[Крякнул] он и, уронив руки назад, остался лежать на них.

Она вынула гребень и, поглядывая на него, стала расчесывать волосы. Он улыбался слабо и печально.

Но опять поднялась мгла, откуда появились тучи, ветер и облака жильцы этих горных высот. Их белые тени исчезли в ней точно рыба в воде.

– Дай мне руку! – воскликнула она.

Он дал.

– Сядем здесь! – крикнула она.

Они сели.

Она шепнула ему на ухо: «Покажи мне, что как любят. Я не знаю». Он молчал.

– Ты сердишься? – голос ее сделался нежнее. Скажи мне, – усмехнулась она, что нужно делать? Слушай, сказала она, дрогнув, – прости меня. Я была неправа.

– Я тебя люблю, – друг прошептала она, осыпая поцелуями его голову. – Наклонись же ко мне, приголубь меня, наклонись, как небо над землей.

– Что с тобой? – шептал он в ужасе и восхищении.

Горячий и молчаливый, он нагнулся над ней и коснулся ее губами.

– Ах! – воскликнула она уже в беспамятстве.

Но вдруг солнце показалось, солнце осветило ее девичьи ноги, она раскрыла глаза: над ней лежал мертвый холодный Артем

1912–1913

«Лубны своеобразный глухой город...»

Лубны своеобразный глухой город.

Белое высокое здание суда, поднимающее власть высоко над жителями города <нрзб.>, в садах качающиеся еврейки в гамаках, кругом села великороссов, говорящих по-малорусски, но помнящих об единой Руси, так как их деды жили и родились на севере; лукаво смотрят их лица на каждого нового пришельца, желая понять, кто он враг или друг.

Здесь благословенный отличный воздух, луга и поля, река Сула славится своим здоровьем, а подите люди умирают не только от старости, но и от частой чахотки. И пожары в русских столицах, где тройка черных или золотистых одноцветных крепких <нрзб.> коней, изгибая красивые морды, несет древних воинов, в так же изогнутых шлемах на войну с огнем, сквозь быстро собирающуюся по бокам толпу, и старая битвенная судорога их движений, напоминая о войнах, волнуется сердца, там не то, <нрзб.> и полководец этой битвы скачет впереди с трубой в руке и бросает звонкие повеления.

Но здесь пожары так часты, как нигде. Они всегда происходят ночью.

Гневные, властные и торжественные реют над городом звуки трубы, то отдаленные, то страшно близкие, нарастая в силе. Они преследуют вас, они разыщут вас везде, в каком бы уголке города вы бы ни спрятались. Они, помимо слов, говорят, что ваш долг быть там. И властнее слов собирают жителей к пожарищу.

Настойчивость этих гневных звуков ужасна. Они проходят вашу душу, вы не знаете в вашей душе преград для них. Вы знаете, что в день Страшного суда вы проснетесь под эти трубы.

– Горит, – отвечают в этот миг прохожие и устремляются вперед. Тотчас какой-то ветер подымается по городу, начинается суматоха: лают собаки, бегут люди, и слышен топот ног и крики. Эти трубы не знают вас, с вашими личными страстями, но они знают люд и гнут его волю, как змею и бросают для победы над огнем.

– Проснитесь, – говорят они, – восстал огонь, усмирите его, бросьте снова связанного и скованного в клетку. Ему пора не настала;

это еще не последняя схватка огня и люда. Еще не время укротить зверя.

Я долго думал о неизмеримости величия их, я знал, что все, что есть, – есть только письменна; и старался понять их, ведь осязание числа есть, великий переводчик не имеющих никакого родства языков.

В тоскующих и грозных, в них на каком-то языке виделось зерно воскрешения мертвых.

И в грозном гуле этих звуков, углом поднимающихся над миром, падающих с неба на мир лавой, скрыт <о> обещание про день огня победителя, в них скрыты предтеча и знаменье, милое сердцу народа. Огневая ли природа усопших, дальние ли объятия смерт<и> солнца? Ведь живое более походит на землю, чем мертвое. И схватка огня и земли, увенчанная победой огня, раскрывшего крышки земных гробов и сожегшего их, что как <нрзб.> волнует вас после <нрзб.>

Он придет, этот гневный вождь красный багряный огонь.

Если смерть разлука огня и земного воска то здесь слышится возврат огневого человечества.

Да, я долго не мог забыть тоскующий гул этих труб.

Да, в такую ночь хорошо бродить одиноким путником, ожидая Страшного суда. Но послушайте тогда, как снова грозно завывают трубы: «Нужно бросить обратно в темницу».

1912–1913

«Коля был красивый мальчик...»*

Коля был красивый мальчик. Тонкие черные брови, иногда казавшиеся громадными, иногда обыкновенными, синевато-зеленые глаза, лукавой улыбкой завязанный рот и веселое хрупкое личико, которого коснулось дыхание здоровья.

Он вырос в любящей семье; он не знал других окриков в ответ на причуды или шалости, как «дитя мое, зачем ты волнуешься?»

В больших глазах его одновременно боролись бледно-синеватый оттенок и зеленый, как будто плавал лист купавы по озеру.

У него было семь скрипок и скрипка Страдивариуса. Но мальчик, кажется, немного был утомлен обилием этих скрипок. «Только ты худ немного», – смеясь, говорили ему старшие. Он был очень маленького роста, хрупкий и нежный. Родные звали его сфинксом, обещая ему неожиданный перелом в настроении.

Раз, когда он проходил по тому берегу моря, который теперь уже исчез, смытый волнами одной бури, какой-то наблюдательный моряк задумчиво произнес: «Муравей и стрекоза» (вторым был я) в самом деле, он был трудолюбив, как муравей.

В Одессе, а это было в Одессе, многие переселялись на берег моря в легкомысленных клетушках, воздвигая их вдоль тропинок, угощая в праздник толпой дорогим чаем и дешевыми песенками.

В этой полурыбацкой жизни находили прелесть. Дети не ловкой пухлой рукой поднимают запутавшуюся в водорослях удочку. Другие, устав от уроков, видят ось жизни в ловле мелких рачков, толпами скользящих в воде. Волны чувственный рой от купающихся, в зеленом гаду бродят еврейки и бросают жгучие и томные взгляды своего племени. Черные зрачки и белые белки их глаз удивительны, и они справедливо гордятся ими.

Искусство суровый бич: оно разрушает семьи, оно ломает жизни и душу. Трещиной раскола отделяет душу от другой и труп привязывает к башке где коршуны славы клюют когда-то живого человека.

Буря, когда с верхушки ветряных мельниц слетает крыша и с треском ломаются крылья, деревья гнутся в одну сторону, и ветки

свищут от напряженья, трясущиеся овцы стоят и, жалобно бляя, зовут
отворить ворота.

Впрочем, конечно, это только вычурный своей мрачностью образ.

1912–1913

Охотник Уса-Гали*

Уса-гали воспитывал соколов, охотился, а при случае занимался разбоем. Если его уличали, он добродушно спрашивал: «А разве нельзя? Думал, можно!» Увидев спящего жаворонка в степи, Уса-гали ползет к нему и прижимает его за хвост к земле; птица просыпается в плену Орел сидит на стогу. Гали подкрадывается к стогу с длинной петлей. Орел зорко смотрит на волосяной обруч. Полный подозрений, он подымается на ноги, готовый улететь, но уж висит, ударяя черными крыльями, хлопая ими и крича. Уса-гали выбегает из-под стога и за веревку тянет бедного князя воздуха, черного пленника с железными когтями его крылья в раз махе достигают сажени. Гордый, он едет по степи. Орел долго будет жить в плену, разделяя пищу с овчарками.

Раз, во время погони, целая вереница всадников окружила его. Гали напрасно рыскал на своем коне в середине облавы. Что же он делает? Он повернул коня и поскакал к одному из всадников. Тот нерешительно ставит коня боком. Гали свистнул плетью, и добрый конь, оглушенный страшным ударом в лоб, упал на колени. Уса-гали ускакал. Это был лихой удар, вызвавший конский обморок. В степи долго помнили лопнувшую подпругу на оглушенном коне и примятого всадника.

В то время чумаки ездили обозами, покрывая возы от непогоды цельным войлоком. Волы идут, двигая вечно мокрые черные губы, отмахиваясь от мух. Были охотники подкрасться к чумакам, на скаку сунуть под колено конец войлока и умчаться с ним в степь. Тогда остроумные чумаки привязали войлок к обозу очень длинной веревкой. Уса-гали так и сделал. Но едва веревка кончилась, он сильнейшим толчком был сброшен на землю, сломав руку. Чумаки подбежали и на славу выместили свои обиды. «Будет?» – спрашивали они его. «Будет, батька, будет!» – отвечал он тихо. Это удовольствие стоило ему нескольких ребер.

Плетью, которая есть близкий родич северного кистеня, он умел владеть превосходно, то есть по-киргизски, пользуясь ею на волчьих охотах. Настоячивее борзой ручные орлы, преследуя в степи волка, доводят его до состояния бешенства и равнодушия ко всему.

Послушный иноходец прибавляет ходу, и Гали, наклонившись с седла, своим кистенем приканчивал изнемогающего в неравном споре зверя. Бедные бирюки!

Раз его застали важно гнавшим хвостинной целое стадо дроф.

– Уса-гали, ты что делаешь?

– Крылья подмерзли, мало-мало продаю их, – равно душно отвечал он. Это было во время гололедицы.

Гаков Уса-гали. Белый конь пасется у стоянки. Стая витютней наносится ветром. Лебеди блеснули в глубокой синеве неба, как край другого мира. Белые стрепеты пасутся на песчаном бугру. Витютни, сидевшие в траве, вдруг срываются и уносятся. Рассказы, журчит беседа. Начинается вечерянка.

Между тем гуси, своим узором разделившие небо пополам, вытягиваются в тонкую полосу. Стая, похожая на воздушного змея где-то далеко теряется бесконечной нитью, может быть облегчая полет. Гуси перекликаются и снова перестраиваются, как темный Млечный Путь.

Между тем прибавился ветер, и сильнее закачалось гнездо ремеза похожее на теплую рукавицу, подвешенную к иве Лунь, весь черный, с красивым серебряным теменем проносится мимо. Вороны и сороки радуют как хорошая примета.

– Слышите? – рассказывают про пленную турчанку. Она выходила в поле, ложилась, прикладывала голову к земле, и, когда ее спрашивали, что она' делает она отвечала «Я слушаю, как на небе служат обедню. Хорошо как!»

Русские стояли кругом. Здесь же Уса-гали, в стороне, что-то скромно ест. Он был хороший степной зверь. Урус построил пароходы, урус провел дорогу и не замечает другой степной жизни. Неверный урус – гяур-урус.

Если вы прислушивались к голосам диких гусей, не слышали ли вы: «Здравствуй! Долженствующие умереть приветствуют тебя!»

Николай*

Странное свойство случая! Оно проводит вас равнодушным мимо того, чему присвоено имя «страшного», и, наоборот, вы ищете глубины и тайны за ничтожным случаем. Я шел по улице и остановился, видя собирающуюся толпу около грузовых подвоов.

– Что здесь такое? – спросил я случайного прохожего. Да вот, – ответил тот, смеясь.

В самом деле, в гробовой тишине старый вороной конь мерно ударял копытом об мостовую. Другие кони прислушивались, глубоко поникнув головами, молчаливые, неподвижные. В стуке копытом слышалась мысль, прочитанный рок и приказание, и остальные кони, понурясь, внимали. Толпа быстро собиралась, пока грузчик не вышел откуда-то, не дернул коня за повод и не поехал дальше. Но старый вороной конь, глухо читающий судьбу, и старые понуренные товарищи остались в памяти.

Невзгоды странствовательной жизни окупаются волшебными случаями. К таким я отношу встречу с Николаем. Если бы вы встретили его, вы бы, вероятно, не обратили внимания. Только немного смуглый лоб и подбородок выдали бы его. И слишком честно ничего не выражающие глаза могли бы вам сказать, что перед вами равнодушный и скучающий среди людей охотник.

Но это была одинокая воля, имевшая свой путь и свой конец жизни. Он не был с людьми. Он походил на усадьбы забором отгороженные от дороги, забором повернутые к проселку. Он казался молчаливым и простым, осторожным и необщительным. Его нрав казался даже бедным. В хмелю он становился груб и дерзок с своими знакомыми, назойливо требовал денег. Но – странно – испытывал прилив нежности к детям: не потому ли, что это были пока еще не люди? Эту черту я знавал и у других. Он собирал вокруг себя детвору и на всю мелочь, которой владел, покупал им убогие сласти, баранки, пряники, которыми украшены лари торговых. Хотел ли он сказать: «Смотрите, люди, так поступайте с другими, как я с ними». Но, так как эта нежность не была его ремеслом, на меня его молчаливая проповедь оказывала больше действия, чем проповедь иного учителя с

громкой и всемирной славой. Какую-то простую и суровую мысль выражали тогда его прямые глаза.

А впрочем, кто прочтет душу нелюдимого серого охотника, сурового гонителя вепрей и диких гусей? Мне вспоминается по этому поводу суровый приговор над всей жизнью одного умершего татарина, который оставил предсмертную записку с краткой, но привлекающей внимание надписью: «Плюю на весь мир».

Татарам он казался отступником от веры, изменником, а русским властям – опасной горячей головой. Признаюсь, я не раз хотел дать подпись под эту записку, указанную равнодушием и отчаянием. Но эта молчаливая выставка свободы от железных законов жизни и ее суровой правды, этот орешник, собирающий у своего подножия полевые цветы, все-таки глубокая черта; в них скрывалась простая и суровая мысль, хранимая его, несмотря ни на что, честными глазами.

В одном старом альбоме, которому много лет, среди выцветших сгорбленных старцев с звездой на груди, среди жеманных пожилых женщин, с золотой цепью на руке, всегда читающих раскрытую книгу, вы могли бы встретить и скромное желтое изображение человека с чертами лица мало замечательными, прямой бородой и двустволкой на коленях; простой пробор разделял волосы.

Если вы спросите, кто эта поблекшая выцветшая светопись, вам кратко ответят, что это Николай. Но от подробных объяснений, наверное, уклонятся. Легкое облачко на лице говорившего вам укажет, что к нему относились не как к совершенно постороннему человеку.

Я знал этого охотника. К людям вообще можно относиться как к разным освещениям одной и той же белой головы с белыми кудрями. Тогда бесконечное разнообразие представит вам созерцание лба и глаз в разных освещениях, борьба теней и света на одной и той же каменной голове, повторенной и старцами и детьми, дельцами и мечтателями бесконечное число раз.

И он, конечно, был лишь одним из освещений этого белого камня с глазами и кудрями. Но может ли кто-нибудь не быть им?

Про его охотничьи подвиги многое рассказывали. Когда его просили принести зверя, он, отличавшийся молчаливостью, спрашивал: «Сколько?» – и исчезал. Бог ведает какими судьбами, но он появлялся и приносил, что ему заказывали. Кабаны знали его как молчаливого и страшного врага.

Черни – это место, где из мелкого моря растет камыш, – были им изучены превосходно. Кто знает, – если бы можно было проникнуть в душу пернатого мира, населяющего устье Волги, – каким образом был запечатлен в нем этот страшный охотник! Когда они оглашали стопами пустынный берег, но слышалось ли в их рыданиях, что челн Птичьей Смерти снова пристал к берегу? Не грозным ли существом с потусторонней властью казался он им, с двустволкой за плечами и в сером картузе?

Немилостивое грозное божество появлялось и на уединенных песках: белая или черная стая долгими криками оглашала смерть своих товарищей. Впрочем, в этой душе был уголок жалости: он всегда щадил гнезда и молодых, которые знали лишь его удаляющийся шаг.

Он был скрыт и молчалив, чаще неразговорчивый; и только те, которым он показывал краешек своей души, могли догадаться, что он осуждал жизнь и знал «презрение дикаря» к человеческой судьбе в ее целом. Впрочем, это состояние души можно лучше всего помять, если сказать, что так должна была осуждать новизну душа «природы», если б она через жизнь этого охотника должна была перейти из мира «погибающих» в мир идущих на смену, прощальным оком окинув метели уток, безлюдье, мир пролитой по морю крови красных гусей, перейти в страну белых каменных свай, вбитых в русло, тонких кружев железных мостов, городов-муравейников, сильный, но нелюбезный сумрачный мир!

Он был прост прям, даже грубовато суров. Он был хорошей сиделкой, ухаживая за больными товарищами, а в нежности к слабым и готовности быть их щитом ему мог бы завидовать средневековый латник в шлеме с пером.

На охоту он отправлялся так: он садился в бударку, где его ждали две вынянченные им собаки, и спускался вниз, прикрепив парус к мушке то бечевой, то веслами. Надо сказать, что на Волге есть коварный ветер, который налетает с берега среди полной тишины и перевертывает неосторожного рыбака, не сумевшего распутать парус.

На месте лодка поворачивалась вверх дном, служа кровлей, втыкались железные прутья, и у костра начинались охотничьи сутки до ухода на вечернику. Умные молчаливые собаки были вскормлены на лодке, в которую впитались запахи всей водящейся на Волге дичи;

черные бакланы и матерая нога кабана лежали здесь вместе с стрепетами и дрофами.

Тихо завывают волки: «это они собираются», «это они уходят».

Его желанием было умереть вдаль от людей. В чем он сильно разочаровался? Он бродил среди людей, отрицая их. Жестокий по ремеслу, он сжился с гонимыми нелюдьми, к которым являлся как жестокий князь, несущий смерть; но в поединке люда и нелюда становился на их сторону. Так Мельников, преследовавший раскольников, все же написал «В горах и лесах».

Да его иначе нельзя представить, как Птичьего Перуна, жестокого, но верного своим подданным и уловившего в них какую-то красоту.

У него были люди, которых он мог назвать друзьями; но Чем более его душа оставляла свою «раковину», тем сильнее равенство двух властно нарушал он в свою пользу; он становился высокомерен, и дружба походила на временное перемирие между двумя враждующими. Разрыв происходил из-за малейшего случая, тогда он бросал взор, говоривший: «Нет, ты не наш», – и делался сух и чужд.

Не многим было ясно, что этот человек, собственно, не принадлежит к люду. С задумчивыми глазами, с молчаливым ртом, он уже два или три десятка лет был главным жрецом в храме Убийства и Смерти. Между городом и пустыней те же оси, та же разница, какая между чертом и бесом. Ум начинается с тех пор, когда умеют делать выбор между плохим и хорошим. Охотник сделал этот выбор в пользу беса, великого безлюдья. Он твердо заявил желание не быть похороненным на кладбище. Отчего он не хотел тихого креста?.. Был ли он упорный язычник? И что ему рассказала книга, которую прочел только он, и никто уж не прочтет ее пепла?

Но смерть не шла наперекор его желаниям.

Раз местный листок напечатал заметку, что в урочище, известном местным жителям под именем «Конская застава», найдены лодка и тело неизвестного человека. Было добавлено, что рядом валялась двустволка. Так как это был год Черной Смерти и суслики, милovidные животные степи, падая во множестве, заставляли сниматься с кочевий кочевников и в страхе бежать и так как охотник уже неделю пропадал сверх срока, то люди, знавшие его, послали на разведки, охваченные тревожным ожиданием и недобрый

предчувствием. Разведчики, возвратясь, подтвердили, что охотник умер. Со слов рыбаков они рассказали следующее.

Уже несколько ночей на ватагу, основанную на пустынном острове, по ночам приходила неизвестная черная собака и, останавливаясь перед избою, глухо выла. Ни побои, ни крики на нее не действовали. Ее отгоняли, предчувствуя, что значит посещение на необитаемом острове черной неизвестной собаки. Но она неизменно приходила в следующую ночь, жуткая, воющая, отравляя сон рыбакам.

Наконец сердобольный стражник вышел к ней навстречу: она радостно визгнула и, урча, повела его к опрокинутой лодке: вблизи, с ружьем в руке, лежал совершенно исклеванный птицами человек, с мясом, сохранившимся только в сапогах. Облако птиц кружилось над ним. Вторая собака полумертвая лежала у его ног.

Умер он от лихорадки или от чумы – неизвестно. Волны мерно ударяли в берег.

Так он умер, исполнив свою странную мечту – найти конец вдали от людей.

Но друзья над его могилой все-таки поставили скромный крест. Так умер волкобой.

1913

Закаленное сердце*

(Из Черногорской жизни)

– Стой, влаше, ми те запопим, – проговорил Мирко, забивая ствол ружья клоком овечьей шерсти.

Он смотрел вдаль. В самом деле, красная феска мелькнула за камнем. Как крылья у коршуна, поднялись руки у Мирко, поднесли ложе к плечу, загредел выстрел, покатился по ущелью, и феска, взмахнув черной кистью, передвинулась на побледневшем лице умирающего турка.

– Может, там еще кто есть? – тихо спросил Бориско, стоявший около отца и наблюдавший происходившее.

– Все бывает, кроме беременного человека, – угрюмо возразил Мирно, закусывая концы длинного уса и мрачно вглядываясь в даль.

Вдруг он потряс ружьем и воскликнул:

– Собаки! Это будет, когда верба даст грозды. Тогда вы покорите нас!

– Умер? – спросил Бориско.

– От яловой козы не жди молока, от нули – добра. Остайся здесь. Страхич пасет коз. Будь осторожен. С Богом! Ты – дотич! Пусть сам орел будет слепым рядом с тобой.

Крупными шагами он уходил из ущелья, по которому плыли синие тучи.

– Младыми свет стоит – думал юнак, опираясь на ружье.

Он был уже в возрасте. Давно ли это было?

Его опоясали, и мать поцеловала ему глаза и сказала:

– Господине! Приказывай мне, я твоя раба, я слушаю тебя.

А он в ответ поцеловал ей морщинистые руки и со всем пылом обещал быть опорой старости.

Баловень-орел жил на привязи у хаты. Бориско пас коз и прямо из вымени пил молоко, проголодавшийся и усталый. Да, это было давно.

– Не будь мед, – сказал ему Мирко, – слижут тебя. Не будь яд – выблюют тебя.

Долго размышлял Бориско над странной мудростью этих простых слов.

Другие видения прошлого встали перед его глазами. Он знал, что входит в другую полосу жизни. Бориско не был безродный никогович. Человек от человека были все его предки по дебелой крови. Человеком был дед, человеком и прадед. Славен их род в Черной Горе. В самой России помнят о нем. Да, он воеводич. Он стоял, опершись о ружье.

«За негу твою я дам кровь из-под горла», – вспомнил он огненные старинные слова старой сербской песни. Их он недавно шептал Заре, тогда, на восходе солнца. Высоко, как вершины черногорских гор, на полроста отделившись от земли и соединив над головой прекрасно сплетенные руки, подскакивали плясуньи, и, как играющие в полдень орлы, носились кругом них юнаки, смелые и вооруженные кривыми ножами. У орлов и у горных вершин родины учились они пляскам. Седой русский сидел около них и наблюдал их обычаи.

В струку крепко завернулся детич. Черногорец задумался.

– Тяжко мясу без мяса, – донесся звонкий довольный голос.

– Да, тяжко мясу без мяса, – вздрогнул он. – Где Зара? Где она?

– Станица?

– Да.

Станка несет кувшин с водой и котелок каши. Босые ноги ее были покрыты пылью, и легкая струна висела на плече. Зоркие глаза ее заметили турка.

– Молодой, с невольным сожалением бросила она в его сторону, ставя кувшин на землю.

Жадно припал Бориско к студеной влаге и пил. Но раньше, чем он успел опорожнить кувшин, пуля неизвестно откуда направленного выстрела разбила его на куски. Лишь желтое ребро кувшина сиротливо оставалось в руке, недавно еще державшей пушку. Бориско с сожалением смотрел на воду. Но снова выстрел.

– Сядь! – крикнул он, схватив за руку сестру и силой опуская ее на землю. И в самое время: частые пули, сопутствуемые вспышками дыма, защелкали у них над головами, сплющиваясь о каменную стену. Дело не было совершенно безвыходным, но, видя беззаботную улыбку сестры, Бориско чувствовал прилив отчаяния. Она смеялась, как ребенок, получивший игрушку в руки. Пули, ударявшиеся в стену, видимо, радовали ее.

Меж тем перестрелка окончилась. Бориско огляделся.

– Что, дети, я задал вам страху? – неожиданно спросил Мирко, показываясь откуда-то сверху. Усы его вздрагивали а лицо горело.

– Что, дети, будете тешить беса? Хорошо, что я, но не турчин.

– Это ты стрелял? – спросил Бориско.

– Я! – ответил Мирко. – Отцовская пуля разобьет кувшин, но минует сердце турецкая разобьет грудь и минует кувшин.

Бориско смотрел на него и удивлялся суровому мужеству его шутики и закаленному непрестанными войнами сердцу.

Март 1913

У меня был Ка; в дни Белого Китая Ева, с воздушного шара Андрэ сойдя в снега и слыша голос «иди!» оставив в эскимосских снегах следы босых ног, – надейтесь! – удивилась бы, услышав это слово. Но народ Маср знал его тысячи лет назад. И он не был неправ, когда делил душу на Ка, Ху и Ба. Ху и Ба – слава, добрая или худая, о человеке. А Ка это тень души, ее двойник, посланник при тех людях, что снятся храпящему господину. Ему нет застав во времени; Ка ходит из снов в сны, пересекает время и достигает бронзы (бронзы времен).

В столетиях располагается удобно, как в качалке. Не так ли и сознание соединяет времена вместе как кресло и стулья гостиной.

Ка был боек, миловиден, смугол, нежен; большие чахоточные глаза византийского бога и брови, точно сделанные из одних узких точек, были у него на лице египтянина. Решительно, мы или дикари рядом с Маср, или же он приставил к душе вещи нужные и удобные, но посторонние.

Теперь кто я.

Я живу в городе, где пишут «б^ѳсплатныя купальни», где городская управа зовет Граждан помогать войнам, а не воинам, где хитрые дикари смотрят осторожными глазами, где лазают по деревьям с помощью кролиководства. Там черноглазая, с серебряным огнем, дикарка проходит в умершей цапле, за которой уже охотится на том свете хитрый мертвый дикарь с копьем в мертвой руке; на улицах пасутся стада тонкорунных людей, и нигде так не мечтается о Хреновском заводе кровного человеководства, как здесь. «Иначе человечество погибнет», – думается каждому. И я писал книгу о человеководстве, а кругом бродили стада тонкорунных людей. Я имею свой небольшой зверинец друзей, мне дорогих своей породистостью; я живу на третьей или четвертой земле, начиная от солнца, и к ней хотел бы относиться как к перчаткам, которые всегда можно бросить стадам кроликов. Что еще сказать о мне? Я предвижу ужасные войны

из-за того – через «ять» или «е» писать мое имя. У меня нет ногочелюстей, головогруды, усиков. Мой рост: я больше муравья, меньше слона. У меня два глаза. Но не довольно ли о мне?

Ка был мой друг, я полюбил его за птичий нрав, беззаботность, остроумие. Он был удобен, как непромокаемый плащ. Он учил, что есть слова, которыми можно видеть, слова-глаза и слова-руки, которыми можно делать. Вот некоторые его дела.

2

Раз мы познакомились с народом, застегивающим себя на пуговицы. Действительно, внутренности открывались через полость кожи, а здесь кожа застегивалась на роговидные шарики, напоминавшие пуговицы. Во время обеда через эту полость топилась мыслящая печь. Это было так.

Стоя на большом железном мосту, я бросил в реку двухкопеечную денюгу, сказав: «Нужно заботиться о науке будущего».

Кто тот ученый рекокоп, кто найдет жертву реке?

И Ка представил меня ученому 2222 года.

– А! – через год после первого, но младенческого крика сверхгосударства АСЦУ. АСЦУ! – произнес ученый, взглянув на год медяка. – Тогда еще верили в пространство и мало думали о времени.

Он дал мне поручение составить описание человека. Я заполнил все вопросы и подал ведомостичку. «Число глаз – два, – читал он, – число рук – две; число ног – две; число пальцев – 20». Он положил худой светящийся череп на теневой палец. Мы обсуждали выгоды и невыгоды этого числа.

– Изменяются ли когда-нибудь эти числа? – спросил он, окидывая меня проницательным взглядом умных больших глаз.

– Это предельные числа, – ответил я. – Дело в том, что иногда встречаются люди с одной рукой или ногой. Число таких людей заметно увеличивается через 317 лет.

– Но этого довольно, – ответил он, – чтобы составить уравнение смерти. Язык, – заметил ученый 2222 года, – вечный источник знания. Как относятся друг к другу тяготение и время? Нет сомнения, что время так же относится к весу, как бремя к бесу. Но можно ли

бесноваться под тяжелой ношей? Нет. Бремя поглощает силы беса. И там, где оно, его нет. Другими словами, время поглощает силы веса, и не исчезает ли вес там, где время? По духу вашего языка, время и вес – два разных поглощения одной и той же силы.

Он задумался.

– Да, в языке заложены многие истины.

На этом наше знакомство прервалось.

3

В другой раз Ка дернул меня за рукав и сказал: «Пойдем к Амепофису».

Я заметил Ли, Шурура и Нефертити. У Шурура была черная борода кольцами.

– Здравствуйте, – кивнул Аменофис головой и продолжал: – Атэн! Сын твой, Нефер-Хепру-Ра, так говорит: «Есть порхающие боги, есть плавающие, есть ползающие. Сух, Мневис, Бонну. Скажите, есть ли на Хани мышь, которая не требовала себе молитв? Они ссорятся между собой, и бедняку некому возносить молитвы. И он счастлив, когда кто-нибудь говорит: „Это я“ – и требует себе жирных овнов. Девять луков! Разве не вы дрожали от боевого крика моих предков? И если я здесь, а Шеш держит гибкой рукой тень, то не от меня ли там спасает меня здесь ее рука? Разве не мое Ка сейчас среди облаков и озаряет голубой Хапи столбами огня? Я здесь велю молиться мне там! И вы, чужеземцы, несите в ваши времена мою речь».

Ка познакомил его с ученым 2222 года.

Аменофис имел слабое сложение, широкие скулы и большие глаза с изящным и детским изгибом.

В другой раз я был у Акбара и у Асоки. На обратном пути мы очень устали.

Мы избегали поездов и слышали шум Сикорского. Мы прятались от того и другого и научились спать на ходу. Ноги сами шли куда-то, независимо от ведомства сна. Голова спала. Я встретил одного художника и спросил, пойдет ли он на войну? Он ответил: «Я тоже веду войну, только не за пространство, а за время. Я сижу в окопе и

отымаю у прошлого клочок времени. Мой долг одинаково тяжел, что и у войск за пространство». Он всегда писал людей с одним глазом. Я смотрел в его вишневые глаза и бледные скулы. Ка шел рядом. Лился дождь. Художник писал пир трупов, пир мести. Мертвецы величаво и важно ели овощи, озаренные подобным лучу месяца бешенством скорби.

В другой раз, по совету Ка, я выбрил наголо свою голову, измазал себя красным соком клюквы, в рот взял пузырек с красными чернилами, чтобы при случае брызгать ими; кроме того, я обвязался поясом, залез в могучие мусульманские рубашки, и надел чалму, приняв вид только что умершего. Между тем Ка делал шум битвы в зеркало бросал камень, грохотал подносом дико ржал и кричал на «а-а».

И что же? Очень скоро к нам прилетели две прекрасных удивленных гур с чудными черными глазами и удивленными бровями; я был принят за умершего взят на руки, унесен куда-то далеко.

Принимая правоверных, они касались чела концами уст и так же лечили раны. Вероятно, они знали вкус крови но из вежливости не замечали. Смешно испачкавшись в чернилах своими очаровательными ротиками, 3 гур скоро стерли искусственную рану и достигли исцеления мнимого больного. Иногда гур плясали, и черные волосы гнались за ними, как играющие вороны или как сиракузские суда за Алкивиадом, как птицы, одна за другой. Это была пляска радости. Казалось, целый веночек головок мчался в одном ручье Позднее радость их немного улеплась, но они по-прежнему смотрели на меня восхищенными глазами перешептываясь и сверкая ночными глазами.

Пришел М<агомет> и смотрел веселыми насмешливыми глазами. Он сказал что теперь многое не настоящее.

– Ничего! Ничего, молодой человек продолжайте в том же духе!

Утром я проснулся немного усталый; гур смотрели немного удивленно, точно заметили что-то странное. Губы их были чисто-чисто вымыты. Красные чернила тоже сошли с их рук. Казалось, они не решались что-то сказать. Но в это время я заметил надпись, на ней моими же красными чернилами было написано: «Вход посторонним строго возбраняется». Далее следовала замысловатая подпись. Я исчез, но запомнил запачканные красными чернилами

волосы и руки Гауры и еще многое, и в тот же вечер вместе с воинами Виджаи плыл на Сахали в 543 году до <Р. Хр.> Гур мне чудились по-прежнему, но в одеждах, из крыл стрекоз или в шубах из незабудок, тяжелых и суровых составленных почвой и растениями, кудрявые голубые лани.

Конечно, многие из вас дружат с игральной колодой некоторые даже бредят во сне всеми этими семерками червонными девами, тузами. Но случилось ли вам играть не с предметным лицом, каким-нибудь Иваном Ивановичем, а с собирательным – хотя бы мировой волей? А я играл, и игра эта мне знакома. Я считаю ее более увлекательной той знаки достоинства которой – свечи мелок, зеленое сукно полночь. Я должен сказать, что в выборе ходов вы ничем не ограничены. Если бы игра требовала и это было в ваших силах, вы бы могли, пожалуй, стереть мокрой губкой с черного неба все его созвездия, как с училищной доски задачу. Но каждый игрок должен своим ходом свести на нет положение противника.

Несмотря на свою мировую природу, ваш противник ощущается вами как равный, игра происходит на началах взаимного уважения, и не в этом ли ее прелесть? Вам кажется, что это знакомый, и вы более увлечены игрой, чем если бы с вами играл гробовой призрак. Ка был наперсником в этой забаве.

Ка печально сидел на берегу моря, спустив ноги. Осторожнее, осторожнее! Студенистые морские существа, разбитые волнами, толпились у берегов, пригнанные сюда ветром, скитаясь мертвыми стадами, и, тускло блестя, скользили из рук купальщиц, то темно-зеленых, то темно-красных в плотно одевавших их тканях. Некоторые неприятно хохотали, застигнутые волной. Ка был худощав, строен и смугл. Котелок был на его, совсем нагом, теле. Почерневшие от моря волосы вились по плечам. Тусклые волны, поблескивая верхушками, просвечивали сквозь него. Чайка, пролетая сзади серой тени, видна была через его плечи, но теряла в живости окраски и, пролетав, снова возвращала себе яркое, черно-белое перо. Его перерезала купальщица в зеленом, усеянном серебряными пятнами, купальном. Он вздрогнул

и снова вернул себе прежние очертания. Она смело улыбнулась и посмотрела на него. Ка сгорбился. Между тем, долго плававший в воде, выходил из моря на берег, покрытый ее струями, точно мехом, и был зверь, выходящий из воды. Он бросился на землю и замер; Ка заметил, что два или три наблюдательных дождевика написали на песке число шесть три раза подряд и значительно переглянулись. Татарин-мусульманин, поивший черных буйволов, бросившихся к воде, разрывая построжки, и ушедших в море на такую глубину, что только темные глаза и ноздри чернели над водой, а все их покрытое коркой переплетенной с волосами грязи тело скрылось под водой, вдруг улыбнулся и сказал христианину-рыбаку: «Масих-аль-Деджал». Тот его понял, лениво достал трубку и, закурив, лениво ответил: «А кто его знает. Мы не ученые. Сказывают люди», – добавил он. Военный, в подозрную трубку следивший за редким пловцом, повесил ее на ремень и холодно посмотрел на него, повернулся и пошел плохо заметной тропинкой.

Между тем вечерело, и стадо морских змей плыло по морю. Берег опустел, и лишь Ка по-прежнему сидел, обвив руками колени. «Все суетно, все поздно», – думал он. «Эй, теневой храбрец, – казалось, крикнул ветер, – осторожнее!» Но Ка был недвижим. И волна смывает его. Подплывает белуга и проплатывает его. В новой судьбе он становится круглой галькой и живет среди ракушек одного спасательного пояса и пароходной цепи. Белуга питала слабость к старым вещам. Здесь же был пояс с арабской надписью Фатьмы Меннеды, от тех времен, когда среди копий, кончаров, весел и перначей стоял сам орел смерти, а она отражалась в воде, качнув синими серьгами, хохотунья с раскрытыми раз навсегда печальными глазами, и, ударив веслами, плыл уструг все дальше, и дальше, отраженный в ночных водах, и точно усики ночного мотылька касались палубы ноги белого облака.

Но вот могущественная белуга умирает в сетях рыбаков.

Ка вернул свободу.

Седые рыбаки с голыми икрами пели эдды, печальную песнь морских берегов, и тянули невод мелкий, частый, мокрый, полный капель, в котором порой висели черные раки, схватив клешней за нитку, напрягая жилистые руки, иногда они выпрямлялись и смотрели на вечное море. Поодаль мирно сидели, как большие дворовые собаки, орланы. Морская хохотунья села на камень, в котором был Ка, и отпечатала мокрые ноги. Сама рыба, мертвая, блестела жучками на берегу.

Но его нашла девушка и взяла с собой. Она пишет на нем танку «Если бы смерть кудри и взоры имела твои, я умереть бы хотела», а на другой стороне камня – ветку простых зеленых листьев; пусть они оттеняют своим узором нежную поверхность плоского беловатого камня. И их темно-зеленый узор обвил камень сеткой. Он испытывал мучения Монтезумы, когда все бывало безоблачным или когда Лейли подымала камень и дотрагивалась до него губами и тихо целовала его, не подозревая в нем живого существа, и говорила языком Гоголя «тому, кто умеет усмехаться» Около был чугунный Толстой, нежно-красная морская ракушка, очень блестящая, покрытая точками, и морщинистые, с каменными лепестками, цветы. Тогда Ка соскучился и пришел к своему господину; тот пел: «Мы ели ен сао чахоточных стрижей и будем есть их до, до ен сао друзей». Это значило, что он был зол.

– О! – сказал тот мрачно, – ну говори, где и что.

Рассказ про свои обиды журчал: «Она была полна того незамного, неизъяснимого выражения...» и так далее. Собственно, это был жалобный донос на судьбу, на ее черную измену, на ее затылок.

Ка было приказано вернуться и держать стражу.

Ка отдал честь, приложился к козырьку и исчез, серый и крылатый.

На следующее утро он доносил: «Просыпается: я на часах около» (винтовка блеснула за его плечами). «Восклицательный знак; знак вопроса; многоточие. Оттуда, где дует ветер богов и где богиня Изанага, оттуда на ней змеиная полусеребряная ткань, пепельно-

серая. Чтобы понять ее, нужно знать, что пепельно-серебряные, почти черные, полосы чередуются с прозрачными, как окно или чернильница. Прелесть этой ткани постигается лишь тогда, когда она озаряется слабым огнем радостной молодой рукой. Тогда по ее волнам серебристого шелка пробегает оттенок огня и вновь исчезает, как ковыль. На зданиях города так трепещет вечерний пожар. Большие очаровательные глаза. Называет себя обожаемой, очаровательной».

– Не то, – прервал я поток слов. – Ты ошибаешься, – строго заметил я.

Неужели? деланно-печально возразил Ка.

Вообрази, еще веселее произнес он немного спустя, как будто принес мне радостную весть, – три ошибки: 1) в городе, 2) улице, 3) доме.

Но где же?

Я не знаю, ответил Ка, чистосердечие звучало в его голосе.

Хотя я его очень любил, но мы поссорились. Он должен был удалиться. Махая крылами, одетый в серое, он исчез. Сумрак трепетал у его ног, точно он был прыгающий инок, мой горделивый и прекрасный бродяга. «А, это он, бездноглазый! – воскликнули несколько прохожих. – А где же Тамара, где Гудал?» – дав повод воткнуть в повесть эти художественные мелочи своим испугом горожан.

Между тем я ходил по набережной взад и вперед, и ветер рвал мой котелок и бросал косые капли на лицо и черное сукно. Я посмотрел вслед золотившемуся облачку и хрустнул руками.

Я знал, что Ка был оскорблен.

Еще раз он мелькнул в отдалении, изредка маша крылами. Мне же показалось, что я одинокий певец и что Арфа крови в моих руках. Я был пастух; у меня были стада душ. Теперь его нет. Между тем ко мне подошел кто-то сухой и сморщенный. Он осмотрелся, значительно взглянул и сказав: «Будет! Скоро!» кивнул головой и исчез. Я пошел за ним. Там была роща. Черные дрозды и славки с черной головой скакали в листве. Как охрипшие степные волы ревели и мычали прекрасные серые цапли высоко в небо закинув клюв, на самой высокой ветке старого сухого дуба. Но вот промелькнул инок в сухой измятой высокой шапке весь черный, среди дубов. Лицо его было желчно и сморщенно. Один дуб имел дупло, в нем стояли образа

и свечи. Кору не было, потому что она давно была съедена большими зубной болью. В роще был вечный полусумрак. Жуки-олени бегали по коре дубов и, вступив в единоборство, прокалывали друг другу крылья, и между черных рогов живого можно было найти сухую голову мертвого. Пьяные дубовым соком они попадались в плен мальчикам. Я заснул здесь, и лучшая повесть арамейцев «Лейли и Медлум» навестила еще раз сон усталого смертного. Я возвращался к себе и проходил сквозь стада тонкорунных людей. В город прибыла выставка род костей, и там я увидел чучело обезьяны с пеной на черных восковых губах; черный шов был ясно заметен на груди в руках ее была восковая женщина. Я ушел.

Падение сов, странное и загадочное, удивило меня. Я верю что перед очень большой войной слово «пуговица» имеет особый пугающий смысл так как еще никому не известная война будет скрываться, как заговорщик, как рано прилетевший жаворонок, в этом слове, родственном корню «пугать». Но у меня среди этих зарослей ежевики, среди этих ив, покрытых густыми рыжими волосами корней где все было тихо и пасмурно, сурово и серо где одинокий бражник метался в воздухе, а деревья были тихи и строги какая-то пыльная трава, точно умоляя опутала мои ноги и вилась по земле, как просящая милосердия грешница Я разорвал ее нити грубыми шагами, посмотрел на нее и сказал: «И станет грубый шаг силен порвать молящийся паслён».

Я шел к себе; там моего пришествия уже ждали и знали о нем, закрывая рукой глаза, мне навстречу выходили люди. На руке у меня висела, изящно согнувшись, маленькая ручная гадюка. Я любил ее.

– Я поступил, как ворон, – думал я, – сначала дал живой воды, потом мертвой. Что ж, второй раз не дам!

Думая о камне, с написанной на нем веткой простых серозеленых листьев и этими словами «Если бы смерть кудри и волос носила твои, я умереть бы хотела», Ка летел в синеве неба как золотистое облако; среди малиновых облачных гор, настойчиво маша крылами, затерянный в стае красных журавлей, походившей в этот

ранний час утра на красный пепел огнедышащей горы, красный, как и они, и соединенный с пламенеющей зарей красными нитями, вихрями и волокнами.

Путь был неблизок, и уж капли пота блестели на смуглом лице Ка, тоже красные от лучей зари. Но вот могучая журавлиная труба воинственных, предков зазвучала где-то выше, за рыхло-белыми громадами.

Ка сложил крылья и, осыпанный с ног до головы утренней росой, опустил на землю. На каждом его пере торчал жемчуг росы, черный и грубый. Никто не заметил, что он опустил где-то в истоках Голубого Нила. Он отряхнулся и, как озаренный месяцем лебедь, ударил трижды по воздуху крылами. К прошлому не было возврата. Друзья, слава, подвиги – все впереди. Ка сел на злого, дикого, никогда не оскорбленного седоком полосато-золотого копя и, позволяя ему кусать свои теньевые, но все же прекрасные колена, поскакал по полю. Стадо полосатых щетинистых волков с гнусавым криком гналось за ним. Их голос походил на обзор молодых дарований в ежедневной и ежемесячной печати. Но золотистый скакун упрямо загибал голову и с прежним бешенством грыз теньевой локоть Ка. Он наслаждался дикой скачкой. Два или три Ням-Пям бросили в него ядовитую стрелу и с суеверным ужасом упали на землю. Он приветствовал землю, потрясая рукой. У водопада он остановился. Здесь он попал в общество обезьян, с светской непринужденностью расположившихся на корнях и ветках деревьев. Одни держали пухлыми руками младенцев и кормили их; младшие возрасты с хохотом проносились по деревьям.

Черная рубашка, могучие низкие черепа, кривые клыки давали страшный отпечаток этому обществу волосатых людей Крики буйной сладости доносились из сумрака по временам Ка вошел в их круг.

– Тогда, – вздохнул почтенный старик с мозолистым лицом, – все было иначе. Уж птица Рук исчезла. Где она? И мы не боремся с Ганноном, вырывая мечи и ломая их о колено, как гнилой хворост, и покрывая себя славой он ушел снова в море. А птица Рук? Я не могу завернуться одним ее могучим пером и спать на другом! А давно ли она, слетая с снежных гор, утром будила слонов своим криком. И мы говорили: «Вот птица Рук!» Тогда она подымала за облака слонят; и они смотрели вниз на землю, и хобот их был ниже тучи, как и ноги, а

глаза, серый лоб и уши – выше голубой черты тучи. Она отошла! Прости о Рук!..

– Прости, – заметили обезьяны, подымаясь с своих мест.

Здесь же, у костра, сидела Белая, кутаясь в остатки шали. Вероятно, она зажгла костер и в силу этого пользовалась некоторым почетом.

– Белая! – обратился к ней старик, – когда ты шагала через пустыню, мы знали; мы послали молодежь – и ты у нас, хотя многие в последний раз взглянули на звезды. Спой нам на языке своей родины.

Молодая Белая встала.

– Посторонись, бабушка! – сказала златоволосая девушка старой обезьяне, сидевшей на дороге.

Золотые волосы одевали ее в один сплошной золотой сумрак. Слабо журча, они лились вниз, как зажженные воды, мимо плеча, покрасневшего и озябнувшего. Вместе с прекрасной скорбью, отразившейся в ее движениях, она была поразительно хороша и чудно стройна. Ка заметил, что на ногте красивой правильной ноги отразилась вся площадка леса, множество обезьян, дымящийся костер и клочок неба. Точно в небольшом зеркале, можно было заметить старцев, волосатые тела, крохотных младенцев и весь табор лесного племени. Казалось, их лица ожидали конца мира и чьего-то прихода.

Они были искажены тоской и злобой; тихий вой временами вырывался из уст. Ка поставил в воздухе слоновый бивень и на верхней черте, точно винтики для струн, прикрепил года: 411, 709, 1237, 1453, 1871; а внизу на нижней доске года: 1491, 1193, 665, 449, 31. Струны, слабо звеневшие, соединяли верхние и нижние гвоздики слоновьего бивня.

– Ты будешь петь? – спросил он.

– Да! – ответила она. Она дотронулась до струи и произнесла: «Судеб завистливых волей я среди вас; если бы судьбы были простыми портниками, я бы сказала: плохо иглою владеете, им отказала в заказах, села сама за работу. Мы заставим само железо запеть „О, рассмейтесь!“».

Она провела рукой по струнам: они издали рокочущий звук лебединой стаи, сразу опустившейся на озеро.

Ка заметил, что каждая струна состояла из 6 частей по 317 лет в каждой, всего 1902 года. При этом в то время, как верхние колышки

означали нашествие Востока на Запад, винтики нижних концов струн значили движение с Запада на Восток. Вандалы, арабы, татары, турки, немцы были вверху; внизу – египтяне Гатчепсут, греки Одиссея, скифы, греки Перикла, римляне. Ка прикрепил еще одну струну: 78 год, – нашествие скифов Адиа Саки и 1980 – Восток.

Ка изучал условия игры на 7 струнах.

Между тем Лейли горько плакала, уронив чудные золотые волосы на землю.

– Худо свой труд, исполняете, горько иглою владеете, – произнесла она, горько всхлипывая.

Ка сломил ветку и положил около плачущей Лейли вздрогнула и сказала: «Некогда в детстве безбурном камень имела я круглый и ветку такую на нем».

Ка отошел в сторону, в сумрак; затаенные рыдания душили его; зелеными листьями он осушал свои слезы и вспомнил белую светелку, цветы, книги.

Слушай, – сказал старик, – я расскажу о госте обезьян. На Моа приехала она однажды к нам. Мертвая бабочка на игле дикобраза, вонзенной в черную прическу, ей заменяла веер и опахала. В руке был ивы прут с серебряными почками, в руке у Venus обезьян; ладонью черной она держалась за Моа; за крылья и за грудь. Лицо ее черно, как ворон, и черный мех курчавый мягко вился ночным руном по телу; улыбкой страстной миловидна, хорошеньким ягненком казалась она нам. И с хохотом промчалась сквозь страну Богиня черных грудей, богиня ночных вздохов.

Лейли: «Если бы смерть кудри и волос носила твои, я умереть бы хотела» уходит в сумрак, заломив над собой руки.

– А где Аменофис? – слышались вопросы.

Ка понял, что кого-то не хватало.

– Кто это? – спросил Ка.

– Это Аменофис, сын Теи, – с особым уважением ответили ему. – Мы верим, он бродит у водопада и повторяет имя Нефертити.

Аи, Туту, Азири и Шурура, страж меча, кругом. Ведь наш повелитель до переселения душ был повелителем на Хапи мутном. И Анх сенпа Атен идет сквозь Хут Атен на Хапи за цветами. Не об этом ли мечтает он сейчас?

Но вот пришел Аменофис; народ обезьян умолк. Все поднялись с своих мест.

– Садитесь, – произнес Аменофис, протягивая руку. В глубокой задумчивости он опустился на землю. Все сели.

Костер вспыхнул, и у него, собравшись вместе, беседовали про себя 4 Ка: Ка Эхнатэн, Ка Акбара, Ка Асоки и наш юноша. Слово «сверхгосударство» мелькало чаще, чем следует. Мы шушукались. Но страшный шум смутил нас; как звери, бросились белые. Выстрел. Огонь пробежал.

– Аменофис ранен, Аменофис умирает! – пронеслось по рядам сражающихся.

Всё было в бегстве. Многие храбро, но бесплодно умирали.

– Иди и дух мой передай достойнейшему! – сказал Эхнатэн, закрывая глаза своему Ка. – Дай ему мой поцелуй.

– Бежим! Бежим!

По черно-пепельному и грозовому небу долго бежали четыре духа; на руках их лежала в глубоком обмороке Белая, распустив золотые волосы; только раз мотылек поднял свой хобот и в болоте захрапел водяной конь...

Бегство было удачно: их никто не видел.

8

Но что же происходило в лесу? Как был убит Аменофис?

I – Аменофис, сын Тэи. II – он же, черная обезьяна (полосатые волчата, попугай).

1) Я Эхнатэн.

2) И сын Амона.

3) Что говоришь, Аи, отец богов?

4) Не дашь ли ты Ушепти?

5) Я бог богов; так величал меня ромету; и точно, как простых рабочих, уволил я Озириса, Гатор, Себека и всех вас. Разжаловал, как рабису. О солнце, Ра Атэн.

6) Давай, Аи, лепить слова, понятные для пахаря. Жречество, вы мошки, облепившие каменный тростник храмов! В начале было слово...

7) О Нефертити, помогай!

Я пашни Хапи озаливил,
Я к солнцу вас, ромету, вывел,
Я начерчу на камне стен,
Что я кум Солнца Эхнатэн.
От суеверий облаков
Ра светлый лик очистил.
И с шепотом тихим Ушепти
Повторит за мною: ты прав!
О, Эхнатэн, кум Солнца слабогрудый!

8) Теперь же дайте черепахи щит. И струны. Аи! Есть ли на Хапи мышь, которой не строили б храма? Они хрюкают, мычат, ревут; они жуют сено, ловят жуков и едят невольников. Целые священные города у них. Богов больше, чем небогов. Это непорядок.

1) Хау-хау.

2) Жрабр чап-чап!

3) Угуум мхээ! Мхээ!

4) Бгав! Гхав ха! Ха! Ха!

5) Эбза читорень! Эпсей кай-кай! *(Гуляет в сумрачной дубраве и срывает цветы.)* Мгуум мап! Мап! Мап! Мап! *(кушает птенчиков).*

6) Мно бпэг; бпэг! Вийг! Га ха! Мал! Бгхав! Гхав!

7) Егжизэу равира! Мал! Мал! Мал! Май, май. Хаио хао хиуциу.

8) Р р р р а га-га. Га! Грав! Эньма мээиу-уиай!

Аменофис в шкуре утанга переживает свой вчерашний день. Ест древесный овощ, играет на лютне из черепа слоненка. Остальные слушают.

Ручной попугай из России: «Прозрачно небо. Звезды блещут. Слыхали ль вы? Встречали ль вы? Певца своей любви, певца своей печали?»

Трубные голоса слонов, возвращающихся с водопоя.

Русская хижина в лесу, около Нила. Приезд торговца зверями. На бревенчатых стенах ружья (Чехов), рога. Слоненок с железной цепью на ноге.

Купец. Перо, бивни; хорошо, дюша моя. Заказ: обезьяна, большой самец. Понимаешь? Нельзя живьем, можно мертвую на чучело; зашить швы, восковая пена и обморок из воска в руки. По городам. Це, це! Я здесь ехал: маленькая резвая, бегаёт с кувшином по камням. Стук-стук-стук. Ножки. Недорого. Ещё стакан вина, дюша моя.

Старик. Слушай, почтенный господин мой, он рассердится и может испортить прическу и воротнички почтенному господину.

Торговец. Прощайте! Не сердитесь. Хе-хе! Так охота на завтра? Приготовьте ружья, черных в засаду; с кувшином пойдет за водой, тот выйдет и будет убит. Цельтесь в лоб и в черную грудь.

Женщина с кувшином. Мне жаль тебя: ты выплянешь из-за сосны, и в это время выстрел меткий тебе даст смерть. А я слыхала, что ты не просто обезьяна, но и Эхнатэн. Вот он, я ласково взгляну, чтобы, умирая, ты озарен был осенью желанья. Мой милый и мой страшный обожатель. Дым? Выстрел! О, страшный крик!

Эхнатэн – черная обезьяна. Мэу! Манч! Манч! Манч! *(Падаёт и сухой травой зажимает рану.)*

Голоса. Убит! Убит! Пляшите! Пир вечером.

Женщина кладёт ему руку на голову.

Аменофис. Манч! Манч! Манч! *(Умирает.)*

Духи схватывают Лейли и уносят её.

Древний Египет

Жрецы обсуждают способы мести.

– Он растоптал обычаи и равенством населил мир мертвых; он пошатнул лас. Смерть! Смерть! Вскрикивают, поднимают руки жрецы.

Эхнатэн. О, вечер пятый, причал травы!

Плыви «величие любви» И веслами качай.

Как будто бы ресницей.

Гатор прекрасно и мятежно

Рыдает о прекрасном Горе.

Коровий лоб... рога телицы...

Широкий стан.

Широкий выступ выше пояса.

И опрокинутую тень Гатор с коровьими рогами, что месяц серебрит в пучине Хапи, перерезал с пилой брони проворный ящер.

Другой с ним спорил из-за трупа невольника.

Вниз головой, прекрасный, но мертвый, он плыл вниз по Хапи.

Жрецы (*тихо*). Отравы. Эй! Пий, Эхнатэн! День жарок. Выпил!
(*Скачут.*) Умер!

Эхнатэн (*падая*). Шурура, где ты? Ай, где заклинания? О Нефертити, Нефертити! (*Падает с пеной на устах. Умирает, хватаясь рукой за воздух.*) Вот что произошло у водопада.

9

Это было в те дни, когда люди впервые летали над столицей севера. Я жил высоко и думал о семи стопах времени; <...> Египет – Рим, одной Россия – Англия, и плавал из пыли Коперника в пыль Менделеева под шум Сикорского. Меня занимала длина воли добра и зла, я мечтал о двояковыпуклых чечевицах добра и зла, так как я знал, что темные греющие лучи совпадают с учением о зле, а холодные и светлые – с учением о добре. Я думал о кусках времени тающих в мировом, о смерти.

И на путь меж звезд морозный
Полечу я не с молитвой,
Полечу я мертвый, грозный
С окровавленную бритвой.

Есть скрипки трепетного, еще юношеского, горла и холодной бритвы, есть роскошная живопись своей почерневшей кровью по белым цветам. Один мой знакомый – вы его помните – умер так; он думал как лев, а умер, как Львова. Ко мне пришел один мой друг, с черными радостно-жестокими глазами, глазами и подругой. Они принесли много сена славы, венков и цветов. Я смотрел, как Енисей зимой. Как вороны, принесли пищи. Их любовная дерзость дошла до того, что они в моем присутствии целовались, не замечая спрятавшегося льва, мышата!

Они удалились в Дидову Хату. На сухом измятом лепестке лотоса я написал голову Аменофиса; лотос из устья Волги, или Ра.

Вдруг стекло ночного окна да Каменноостровском разбилось, посыпалось и через окно просунулась голова лежавшей спокойно, вдвинутой, как ящик с овощами походившей на мертвую, Лейли. В то же время четыре Ка вошли ко мне. «Эхнатэн умер, – сообщили они печальную весть. – Мы принесли его завещание». Он подал письмо, запечатанное черной смолой абракадаспа. Вокруг моей руки обвивался кольцами молодой удав; я положил его на место и почувствовал кругом шеи мягкие руки Лейли.

Удав перегибался и холодно и зло смотрел неподвижными глазами. Она радостно обвила мою шею руками (может быть, я был продолжение сна) и сказала только: «Медлум».

Растроганные Ка отошли в сторону и молча утирали слезы. На них были походные сапоги, лосиные штаны. Они плакали. Ка от имени своих друзей передал мне поцелуй Аменофиса и поцеловал запахом пороха. Мы сидели за серебряным самоваром, и в изгибах серебра (по-видимому, это было оно) отразились Я, Лейли и четыре Ка: мое, Виджаи, Асоки, Аменофиса.

22 февраля – 10 марта 1915

Скуфья скифа*

(Мистерия)

– Идем сюда, – сказал Ка, – где Скифы из Сфинкса по утрам бегают по золотистому песку.

Лелеемые усталой ладонью ветра, сыпались пески и убегали дальше то как мука, то как снег, то как золотое море шумящих тихо-золотистых струн. Рогатая степная змея подымала голову и после, тихими движениями, набрасывала себе на глаза песочную шляпу. Золотистый, он с шорохом просыпался то лба змеи. Жаворонок, недавно прилетевший из дальней Сибири, садился на черный сучок рога змеи, на ее засыпанный песком лоб, как на ветку, и погибал в меткой пасти. Он только что спустился из облачных хребтов, где они летели вместе, бок о бок, как моряки, слыша удары грома и поляны тишины заполняя своим пением жаворонков. Он отдыхал в вечно мерзлой стране на высунувшемся из крутого берега темно-глиняном, покрытом резьбой столетий, клыке мамонта; он ночевал в пространной глазнице мамонта, а утром, когда их стая, щебеча и опьяненная полетом, соединяла свои голоса в тот мощный звучащий собор, который мог бы быть понят отдаленным громом или отголоском великого пения богов, то человеку человеческий мир вдруг показался тесным и менее, чем ранее. Жаворонок, серебряный с черными рогами, затрепетал и вдруг поник головой. Его большой черный глаз, где отражались еще реки Сибири, полузакрылся. «Я умираю, я тону в лоне смерти, – сказал он, – я, жаворонок». Став толще, песчано-золотая змея засыпала и последним каменным взором с желтым зрачком посмотрела на каменного льва. Чтобы напоминать молодым людским волнам о старых гребнях людей, его вытесали из камня и дали упругий удар хвоста кругом бедер, и плененные бедра, и полузакрытые глаза, и разрезанные морщинами веков губы. Он смотрел по-человечески вдаль, полузакрыв в песках звериные лапы. Случалось, что утренний морок останавливался около уст шептаться о

тайнах столетий. Скомканные перчатки и скомканный плащ лежали на лапе льва. И странно было видеть черное сукно на суровом камне.

В это время малиновый меч солнца упал поперек пустыни, а черные пятна ночи побежали прочь, и прекрасное пение бесов донеслось до змеи из глубин мятежного звериного камня. Что там было, там, в подземельях львиного туловища, за кругом львиного хвоста? Седой вдохновенный жрец отодвигал на нити времен новую четку дня. Он стоял протянув руку. Юноши в венках были внизу. Жрица с голубыми серо-бледными глазами складывала, согнувшись, ветки для костра. Веря жрецу и задумавшись, она смотрела в упор серыми глазами и молчала. Руки ее собирали травы и бледные лютики, украшающие венки. Жрица молча смотрела на нас, прекрасно и строго, но веря нам, и одежды озером падали к ногам Девы с черной повязкой кругом стана. Хворост, венки и смолы были сложены. Злаки пустынь, покрытые ручьем серебряного волоса, круглые и восково-зеленые, лежали на круглом камне. Сквозь черный колодец вынутого камня падал к нам малиновый луч.

А кругом, как стены храма, с задернутыми облаками глазами, лежал наполовину человеческий лев. Губка времени была пролита на его лицо.

– Дети, – сказал жрец, – вот он зажегся, сияющий глагол.

Мы благоговейно слушали его в этом подземелье храма. Он продолжал дальше:

– Вот большие и малые солнца кружатся во мне. Слышите ли вы их звук, как они поют, и пение их сливается морским глаголом с морем солнц, с пением утреннего неба? И вся слава меня хвалит звездную славу там. И если мы конобесы и черный ветер концов наших грив, пена, снежных комьев усталости, захлестывающие нас удары хвоста, злые глаза осады. Топот. Еще топот! Сколько их поднялось на дыбы и гуляет на задних ногах, грозя передними. Мы заполняем пропасти утесами, на которых книги, не прочтенные седыми волхвами тысячелетий. Мы захлестываем себя гривами, спешно набрасывая горный мост к небу. О, гул восстания! Осада. Деревья, бревна, осколки законов, горы, веры – все заполняет ров к замку неба. И улыбка судеб торчит репейником на наших диких гривах. Черные, белые, золотые, снежные товарищи. Вы походите на крыло орла, клюющего небо!

Стук прервал его мятежный голос.

– Что – там?

– Путешественник с сухой дыней на голове стучит палкой по камню храма, – ответили мы.

– Добре. Ломка уз еще надежней и верней. Пучина пуз пылает пеною парней! – огненно заключил он, сходя.

– Вспомним про полузадернутые временем глаза храмозверя. Вспомним эту губку времени, пролитую мимо глаз! – он кончил.

Прекрасный удав со свинцовым взглядом и холодным разумом в них, как будто на дереве, качался у него на руке. Серо-пепельные пятна свинцово-железным сложным узором украшали его тело. Он дважды обвил руку – живой думающий жезл, раскачивающий свое тело. Вы, жреческие отроки, расскажите, где вы были? Все сели на белые каменные лавки, вдоль стен. И ты, сероглазая и бледная, ты, призрак каменной лавки, вслушайся в таинство другого разума. Утро кончилось. Все начали свои повести. И первый начал:

– Я сидел в подводной лодке, я склонился над столом-зеркалом. Журчание воды слышалось сверху и с боков. Мы неслись. Однообразные волны серым узором плеска покрывали поверхность зеркала. Но темная черта омрачила море, и на ней были трубы и дым; на корме были люди. Звонки. Звонки. Шум подводного выстрела. Бледное пламя! Мы сказали: «Хох!» Мы ложились на дно. Нас обгоняли человеко-похожие предметы. Так, крутясь, падают листья дерева – в голубой сумрак дня, и стучались в окна подводной лодки рукой мертвеца. Веками раньше, но в тот же вечер, в пустыне дубовых стволов, под водой гребя веслами, мы, Запорожская Сечь, подплыли к голубому городу и качались под водой и сторожили черно-золотые, паруса. Под водой мы гребли веслами. Красное, как сегодня утром, солнце закатывалось в море. Но сечевики дышали в трубки, держали в руках смоленые концы весел и тихо качались под водой. Но вот проплыла ладья. На ней стояло много женщин в белом; все темные и стройные. Стоя на корме в длинных золотых кольцах на локтях и ногах, они были дети, ответившие на синие волны моря черными лучезарными волнами волос. Они плыли дальше. Наш вождь поплыл вплавь и как утопленник был принят на ладью. Сытые грабежом, мы поплыли назад. Пустые дубы чуть заставляли горбиться море, и только морские хохотуньи, увидя нас, прядали кверху. Морской шар синел.

Мы были у родины. Славянки в золотых волосах встречали нас у устья реки и пели:

Челнок с заморским витязем
Зовет на берег выйти земь.
Толпе холодных лад
Не надо медных лат.
Мы бросили жребий в синь,
Венком испытую богинь.
Вернулись! Вернулись! Вернулись!
Знакомые тополи улиц.
Голубые, плакать не за чем.
Есть утех колосья резать чем.

Мы тихо зевали, утомленные длинным рассказом, где времена сияли через времена. И кто-то сказал: «Я тот же! Я не изменился!»

Мы встали и разбрелись. Костер дымился над серебристым пеплом. Но вот священное пламя заколебалось и задвигалось как змея, когда она прислушивается к священным звукам. Все насторожились. Кто-то вошел и шепнул на ухо и показал на камень змеевласой женщины, стоявшей в сумраке. Кто-то сказал: «Помни об осужденных умереть на заре. Ах! Сплести еще одно уравнение поцелуев из лесных озер».

.....

Целый день нагой я лежал на песчаной отмели в обществе двух цапель, изучаемый каким-то мудрецом из племени ворон. Он не видел еще нагого человека. Я думаю так.

Между тем озеро, полное неясных криков и вздохов, начинало жить особой ночной жизнью. Вздохи избытка жизни, покрываемые мрачным, кашлем цапель, доносились от него, похожего на тусклое серебро. Сын Солнца, женоподобный, темный, в волосах ниже плеч – бывало, он любовно и нежно расчесывал их большим гребнем, точно он звал это делать незнакомую девушку, – выходил из-за костра, и чем сильнее он опускал свой гребень в темные волосы, тем любовнее и темнее делались его добрые глаза.

Кружево и белая рубашка женщины оттеняли темную шею йога. Его ноги, одетые в светлые волосатые штаны белого, были обуты в привязанные ремнями подошвы.

.....

Я помнил кроваво-золотые пятна на голубовато-белой голове призрака, золотое пятно его шлема и черный дым над ним, точно копоть над пламенем свечи.

.....

Пустыня молчала. Ночью мы поднялись смотреть коготь гуся, блиставший в вышине, и освежиться дивным холодом ночи.

Большие костры изумили нас. Путешественник заснул и, упав головой, темнелся около ног, закрытый плащом.

– Завтра вы оставите храм, – сказал старик.

К утру, во время черной зари звезд, мы расстались.

– До свиданья, – сказали мы.

Ка увел меня за руку. Прошли месяцы войны.

Мы встретились на севере, у моря, на покрытых соснами утесах.

Я помнил слова седого жреца: «У вас три осады: осада времени, слова и множеств». Да, государство людей, родившихся в одном году. Да, таможенные границы между поколениями, чтобы за каждым было право на творчество.

Правда, их тела нам не нужны. Но ведь отдельные тела – листья, и остается еще дуб. Пусть он воет от наших ударов – что нам до листьев? – их много, и на смену одному вырастет другой.

Поезда уже были проложены по дну моря; я воспользовался одним из них. Среди этих утесов, изрытых морщинами, чьи ноги были вымыты морем, мне нужно было найти Числобога – бога времени. Один из этих черных утесов, точно любимец древних – зубр, стоял в море и рога опустил в море. Я шел к нему, шагая по людским глинам, прилипавшим к подошвам. Глина тихо скрежетала. Мы относились к людям, как к мертвой природе.

Китаец, со спрятанной косой, пропустив сквозь ноздри змею, вышедшую потом изо рта, улыбался узкими глазами в слезах, приговаривая: «Хорошая змея, живой змея». Потом он носился с гремющей острогой, собирая зрителей, и высек за что-то маленькую куклу, у которой просил помощи и чуда.

– Теперь сделает, – лукаво объяснил он свой договор с небом.

Белая мышь выползла из чашки.

– Живой, – радостно указывал, что мышь – живой

– Где Числобог? – спросил я его. Он вынул змею и сказал:

– Ветер знает, моя бог не знает.

– Стрибог, ты синий и могучий, ты, верно, знаешь, где Числобог?

– Нет, – ответил, – я должен сейчас как буря погнать над морем стадо ласточек. Спроси Ладу – она среди лебедей и лелек.

Лада направила к Подаге.

Подага холодно убивала зайца о ружье и в белой шубке стояла на поляне. Знакомые серо-голубые глаза удивили меня.

– Числобог? – спросила Подага. – Он стал где-то королем государства времени.

Две гончие своим зовом прервали разговор. Это меня удивило. Как? Он собирал подписи своих первых подданных? Числобог мог стать королем времени? Легкий вздох вырвался вслед навсегда исчезнувшей Подаге.

Привыкший везде на земле искать небо, я и во вздохе заметил и солнце, и месяц, и землю. В нем малые вздохи, цак земли, кружились кругом большого. Что ж, от этого Подага не вернется. И даже лай ее гончих становится – все тише и тише. Я стал думать про власть чисел земного шара. Еще уравнение вздохов, потом уравнение смерти. И всё.

На этом государстве не будет алой крови, а только голубая кровь неба. Даже среди животных различают виды не только по внешнему виду, но и по нравам. Да, мы искусные и опасные враги и не скрываем этого.

Я был у озера среди сосен. Вдруг Лада на белоструй-ном лебеде с его гордым черным клювом подплыла ко мне и сказала:

– Вот Числобог, он купается.

Я посмотрел в озеро и увидел высокого человека с темной бородкой, с синими глазами в белой рубахе и в серой шляпе с широкими полями.

– Так вот кто Числобог, – протянул я разочарованно. – Я думал, что [что-нибудь] другое!

– Здравствуй же, старый приятель по зеркалу, – сказал [я, протягивая] мокрые пальцы.

Но тень отдернула руку и сказала:

– Не я твое отражение, а ты мое.

Я понял это и быстрыми шагами удалился в лес. Море призраков снова окружило меня. Я этим не смущался. Я знал, что $\sqrt{-1}$ несколько не менее вещественно, чем 1; там где есть 1, 2, 3, 4, там есть и -1, и -2, -3, и $\sqrt{-1}$, и $\sqrt{-2}$, и $\sqrt{-3}$. Где есть один человек и другой естественный ряд чисел людей, там, конечно, есть и $\sqrt{-1}$ -человека, и $\sqrt{-2}$ людей и $\sqrt{-3}$ людей и n людей = $\sqrt{-m}$ людей. Я сейчас, окруженный призраками, был $1 = \sqrt{-1}$ -человека.

Пора научить людей извлекать вторичные корни из себя и из отрицательных людей. Пусть несколько искр больших искусств упадет в умы современников. А очаровательные искусства дробей, постигаемые внутренним опытом!

Жерлянки, жабы, журавика окружали каменный желоб, где журчал ручей.

.....

А я же жертву принесу – прядь золотистых волос Подаги сожгу на камне диком. Я расскажу, чем заменили мы войну. Железные рабы на шахматной доске во много верст, друг друга разрушают по правилам игры, и победитель в состязании уносит право победителя его пославшему народу.

Но вот послы.

– Добро пожаловать, любезные соседи.

А между тем Подага с гончими стояла на склоне холма.

Гуж гор гудел голосами грохота гроз в глухом плупце. Глыбы, гальки, глины, гуд и гул.

Зелено-звонкий. Змей зыби – зверь зеркал – зой зема – зоя звезд. И звука зов и зев. Зев зорь зияет зоем зова звезд. Над зеркалом зеленых злаков – зрачков зеленых зема, змея звука звонких звезд. Но плавал плот пленных палачей на пламени полого поля – пустыне пузыристых пазух и пуз на пенистом пазе пещерного прага пустот – пружинистой пяткой полуночных песен и плясок. Пищали пены пестро-пегой пастью и пули пузырей пучины печи пламенеющей. Их пестует опаска праздных прагов – еще прыжок пучинной пятки перинных пальцев прыжок прожег пружинистую пасть пены у пещер. О, певче-пегие племена! На большом заборе около моря было напечатано: «В близком будущем открывается государство времени».

Каменные рабы, стоя на шахматном чертеже, охватывавшем часть моря и суши, разрушали друг друга, руководимые беспроволокой, оснащенные башнями вращающихся пушек, огненной горечью, подземными и надземными жалами. Это были большие сложные рабы, требовавшие и количественного и качественного творчества, выше колоколен, крайне дорогие, с сложными цветками голов. Невидимые удары на проволоке воли полководцев руководили действиями, наконец железного от почки до мозга, воина. Их было 32, которые не имели права встать на чужую клетку, не разрушив всеми силами стоявшего на ней противника. Их было 32 выше колоколен каменных рабов. Надев на локоть щит земного шара, можно было спастись от ударов.

6 июля 1916

Письмо двум японцам*

Наши далекие друзья! Случилось так, что мне пришлось прочесть ваши письма в «Кокумине-Симбун», и я задумался, буду ли я навязчив, отвечая вам. Но я решил, что нет и, поймав мяч, бросаю его вам, чтобы участвовать в нашей игре в мяч младших возрастов. Итак, ваша рука протянута к нам, итак, ее встретила рукопожатием наша рука, и теперь обе руки юношей двух стран висят над всей Азией, как дуга Северного Сияния. Самые хорошие пожеланья рукопожатию! Я думаю, что вы о нас не знаете, но случилось так, что кажется, что вы пишете нам и о нас. Те же мысли об Азии, какие осенили вас умно и внезапно, приходили и нам в голову. Ведь это случается, что на расстоянии начинают звенеть струны, хотя никакой игрок не касался их, но их вызвал таинственный звук, общий им. Вы даже прямо говорите к юношам нашей земли и от имени юношей вашей. Это очень отвечает нашей мысли о мировых союзах юношей и о войне между возрастами. Ведь у возрастов разная походка и языки. Я скорее пойму молодого японца, говорящего на старояпонском языке, чем некоторых моих соотечественников на современном русском. Может быть, многое зависит от того, что юноши Азии ни разу не пожали друг другу руки и не сошлись для обмена мнениями и для суждения об общих делах. Ведь если есть понятие отечества, то есть понятие и сынечества, будем хранить их обоих. Как кажется, дело заключается не в том, чтобы вмешиваться в жизнь старших, но в том, чтобы строить свою рядом с ними. То же общее, о чем мы молчим, но чувствуем, есть то, что Азия есть не только северная земля, населенная многочисленом народов, но и какой-то клочок письмен, на котором должно возникнуть слово Я. Может быть, оно еще не поставлено, тогда не должны ли общие судьбы, некоторым пером, написать очередное слово? Пусть над ним задумалась рука мирового писателя! Итак, вырвем в лесу сосну, обмакнем в чернильницу моря и напишем знак-знамя «я Азии». У Азии своя воля. Если сосна сломится, возьмем Гауризанкар. Итак, возьмемся за руки, возьмем двух-трех индусов, даяков и подыдемся из 1916 года, как кольцо юношей, объединившихся не по соседству пространств, но в силу

братства возрастов. Мы могли бы собраться в Токио. Ведь мы – современный Египет, поскольку можно говорить о переселении душ, а вы часто звучите как Греция древних. Когда даяк, охотник за черепами, прибьет к хижине открытку Верещагина «Похвала войне», он присоединится к нам. Но это прекрасно, что вы бросили мяч лапты в наши сердца. Это потому хорошо, что дает нам право сделать второй шаг, необходимый для обеих сторон и невозможный без вашего любезного начала, так как в возврате мяча заключается игра в мяч.

Весь Ваш, японские друзья, В. Хлебников.

Вот порядок вопросов, которые мы бы могли обсудить при первой встрече на Азийском съезде.

1) Союзная помощь изобретателям в их войне с приобретателями. Изобретатели нам близки и понятны.

2) Основание первого Высшего Учебна бюджетлян. Он состоит из нескольких (13) взятых внаймы (на 100 лет) у людей пространства владений, расположенных на берегу моря или среди гор у потухших вулканов в Сиаме, Сибири, Японии, Цейлоне, Мурмане, в пустынных горах, там, где трудно и не у кого приобретать, но легко изобретать. Радиотелеграф соединяет их все друг с другом, и уроки происходят по радиотелеграфу. Иметь свой радиотелеграф. Сообщение по воздуху

3) Устраивать через 2 года правильные нападения на души (не на тела, а на души) людей пространства, охотиться за науками, поражая их смертельной стрелой нового изобретения.

4) Основать Азипский Ежедневник песен и изобретений. Это для того, чтобы ускорить наш полет стрижей будущего. Статьи печатаются на любых языках, по радиотелеграфу из всех концов. Переводы содержания за неделю. Он будет хлыстом скорости тогда, если будет ежедневным и если будет в руках бюджетлян!

5) Думать о круго-Гималайской железной дороге с ветками в Суэц и Малакку.

6) Думать не о греческом, но о Азийском классицизме (Виджай, ронины, Масих-аль-Деджал).

7) Разводить хищных зверей, чтобы бороться с обращением людей в кроликов. В реках разводить крокодилов. Исследовать состояние умственных способностей у старших возрастов.

8) В наших снятых в временное пользование живописных владениях устраивать таборы изобретатели, где они смогут устраиваться согласно своим нравам и вкусам. Обязать соседние города и села питать их и преклоняться перед ними.

9) Добиться передачи в наши руки той части средств, которая приходится на нашу долю. Старшие возрасты не умеют выдать из себя достаточно честности по отношению к младшим, и во многих странах эти последние ведут жизнь константинопольских собак. Например: <...>^[1].

10) В остальном предоставить старшим возрастам устраиваться, как им угодно. Их дело – торг, семьи, приобретения. Наше – изобретение, война с ними, искусства, знания.

11) Разрушать языки осадой их тайны. Слово остается не для житейского обихода, а для слова.

12) Вмешаться в зодчество. Переносные каюты с кольцом для цеппелинов, дома-решетки.

13) Язык Чисел Венка Азийских юношей. Мы можем обозначить числом каждое действие, каждый образ и, заставляя показываться число на стекле светильника, говорить таким образом. Для составления такого словаря для всей Азии (образы и предания всей Азии) полезно личное общение членов Собора Отроков будущего. Особенно удобен язык чисел для радиотелеграмм. Числоречи. Ум освободится от бессмысленной растраты своих сил в повседневных речах.

Сентябрь 1916

«Нужно ли начинать рассказ с детства?..»*

Нужно ли начинать рассказ с детства? Нужно ли вспомнить, что мои люди и мой народ, когда-то ужасавший сухопутный люд парусами и назвавший их турусы на колесах, осмеивая старым забытым искусством каждую чепуху, народ, который Гайявате современности недоверчиво скажет «турусы на колесах», и тот поникнет, седоусый, и снова замолчит – еще раз повод внутренне воскликнуть: «Нет друзей мне в этом мире!» – мой народ хитро, как осетр, подплывший к Царьграду в долбленых, снабженных веслами подводных лодках, и невидимо качавшийся под волнами, в виду узорных многобашенных улиц шумной столицы, чтобы потом, после щучье-разбойничьих подвигов в узком проливе, нырнуть в море частыми ударами весел, внизу гордых парусов напрасно преследующего его турецкого флота, достичь устья Днепра и свободно вздохнуть в Запорожье, где толпились чайки. Мой народ забыл море и, тщетно порываясь к свободе, забыл, что свобода – дочь моря. Но племя волго-руссос моей земли знало чары великой степи (отдых от люда и им пустота), близость моря и таинственный холод великой реки. Там сложилось мое детство, где море Китая затеряло в великих степях несколько своих брызг, и эти капли-станы, затерянные в чужих степях, медленно узнавали общий быт и общую судьбу со всем русским людом.

Вот вы прожили срок, срок жизни, и сразу почувствовали это, так как многие истины просто отвалились от вас, как отваливаются черные длинные перья из крыла ворона в свой срок, и он сидит один в угрюмой лесной чаще и молча ждет, когда вырастут новые.

Да, я прожил какой-то путь и теперь озираю себя: мне кажется, что прожитые мною дни – мои перья, в которых я буду летать, такой или иной, всю мою жизнь. Я определился. Я закончен. Но где же то озеро, где бы я увидел себя? Нагнулся в его глубину золотистым или темно-синим глазом и понял: я тот. Клянусь, что, кроме памяти, у меня нет озера, озера-зеркала, к которому неловкими прыжками пробирается ворон, когда все вдруг тихо, и вдруг замолчавшие лесные

деревья и неловкий поворот клюва – все сливается в один звук, звук тайны сумрачного бора. А ворон хочет зеркала: его встречают деревья, как лебедя.

Но память – великий Мин, и вы, глубокие минровы, вы когда-то теснились в моем сознаний, походя на мятежников, ворвавшихся на площадь: вы опрокинули игравшую в чет и нечет стражу и просили бессмертия у моих чернил и моего дара. Я вам отказал. Теперь сколько вас, образов прошлого, явится на мой призыв? Так князь, начиная войну не вовремя, не знает, велико ли будет его войско, и смутно играет, гадая о будущем, и готовит коня для бегства. Здесь его голос начал звенеть, и я подумал: но ведь это я, но в другом виде, это <второй> я – этот монгольский мальчик, задумавшийся о судьбах своего народа. А вырезанные из дерева слоны смотрели с ворот хурула. Тогда у меня было поручение достать монгольских кумиров, но я его позорно не выполнил.

Я помню себя очень маленьким, во время детского спора: могу ли перелезть через балясину? Я перелезаю и вызываю похвалу старшего брата. Прикосновение телом к балясине до сих пор не исчезло из памяти. Но вот другой конец страны: старый сад, столетние яворы, гора обломков камней, поросшая деревьями, – сгоревший во время восстания дворец польского пана; во время этой зари жизни мы были мудрецами, и проводить день в теплой речке было законом этих дней. Там ловились лини и щуки во столько раз меньше вершка, во сколько мы были меньше взрослого человека, и самым ярким местом этих лет была весенняя охота на осетров величиною с иголку, подплывавших к берегу; но наша сетка двух рыболовов не ПОМОРЯТ: они ускользали стрелой и опять показывались, замирая своим чешуйчатым туловищем. Два рыболова были взволнованы и озабочены – рама с сеткой для комаров была в их руках.

Здесь мне пришлось отведать хвост бобра – известное лакомство. Покрытый землей, с черной засохшей кровью, он был принесен, и под яблонями, бывшими тогда в цвету, хвост его, покрытый чешуйками и редким волосом, был изжарен. Ничего особенного. Я любил мясо серых коз, таких прекрасных и жалких с черными замороженными глазами. И помню охоты: дорога в лесу, табор саней, верховые, волчьи следы в поле; взрослые исчезли, снежноусый пан-поляк торопится догнать других. Раз к порогу нашего дома подъехала телега, полная

доверху телами молодых вепрей. Раз привезли молодую собаку с распоротым брюхом. О, эти четвероногие люди лесов с желтодымными косыми отрезанными бивнями, как они мстили своим двуногим братьям за их ловкую пулю в темном зимнем сумраке! Один косо́й бивень долго лежал у отца на письменном столе...

Вечерняя таинственная ловля бабочек, когда вечер делался храмом, цветы обратились к <зарю>, как жрицы в белых тонких рубашках, запах жертв, и, как молитва, неся, свистя полетом, бражник. Тогда, когда мы робко подкрадывались, вытянув руку к бабочке, тогда, как слышу, сверху трепетала зарница. Закрывались окна. Ждали грозу.

Годы ученичества на далекой Волге и новые удары молодой крови в мир...

1916–1918

<Октябрь на Неве>*—

Ранней весной 1917 я и Петников садились на московский поезд.

«Только мы, свернув *ваши* три года войны в один завиток грозной трубы, поем и кричим, поем и кричим, пьяные дерзостью той истины, что Правительство Земного Шара уже существует. Оно – Мы.

Только мы нацепили на свои лбы неувыдаемые венки Председателей Земного Шара, неумолимые в своей загорелой дерзости, мы – обжигатели сырых глин человечества в кувшины времени и балакири, мы – зачинатели охоты за душами людей...

„Какие наглецы!“ – скажут некоторые. „Нет, они святые!“ – возразят другие. Но мы улыбнемся и покажем рукой на солнце: „Поволоките его на веревке для собак, судите его вашим судом судомоек – если хотите – за то, что оно вложило эти слова и дало эти гневные взоры. Виновник – оно“.

Правительство Земного Шара – такие-то».

Этим воззванием был начат поэтический год, и с ним в руках два самозванных Председателя земного шара вечером садились на поезд Харьков – Москва, полные лучших надежд.

Нашей задачей в Петрограде было удлинить список Председателей, открыв род охоты за подписями, и скоро в список вошли очень хорошо отнесшиеся члены китайского посольства Тинь-Э-Ли и Янь-Юй-Кай, молодой абиссинец Али-Серар, писатели Евреинов, Зенкевич, Маяковский, Бур-люк, Кузмин, Каменский, Асеев, художники Малевич, Куф-тин, Брик, Пастернак, Спасский, летчики Богородский, Г. Кузьмин, Михайлов, Муромцев, Зигмунд, Прокофьев, американцы – Крауфорд, Виллер и Девис, Синякова и многие другие.

На празднике искусств 25 мая знамя Пред<седателей> з<емного> ш<ара>, впервые поднятое рукой человека, развевалось на передовом

грузовике.

Мы далеко обогнали шествие. Так на болотистой почве Невы было впервые водружено знамя Председателей земного шара.

В однодневной газете «Заем Свободы» Правительство земного шара обнародовало стихи: «Вчера я молвил: гуля, гуля! И войны прилетели и клевали из рук моих зерно».

Это было сумасшедшее лето, когда после долгой неволи в запасном пехотном полку, отгороженном забором из колючей проволоки от остальных людей, по ночам мы толпились у ограды и через кладбище – через огни города мертвых – смотрели на дальние огни города живых, далекий Саратов. Я испытывал настоящий голод пространства и на поездах, увешанных людьми, изменившими Войне, прославлявшими Мир, Весну и ее дары, я проехал два раза, туда и обратно, путь Харьков – Киев – Петроград. Зачем? Я сам не знаю.

Весну я встретил на вершине, цветущей черемухи, на самой верхушке дерева, около Харькова. Между двумя парами глаз была протянута занавеска цветов. Каждое движение веток осыпало меня цветами. Позже звездное небо одной ночи я наблюдал с высоты крыши несущегося поезда; подумав немного, я беспечно заснул, завернувшись в серый плащ саратовского пехотинца. На этот раз мы, жители верхней палубы, были усеяны черной черемухой паровозного дыма, и когда поезд остановился почему-то в пустом поле, все бросились к реке мыться, а вместо полотенца срывали листья деревьев Украины.

– Ну, какой теперь Петроград! Теперь – Ветроград! – шутили в поезде, когда осенью мы вернулись к Неве.

Я основался в селе Смоленском, где по ночам на таинственных поездах с погашенными огнями ездили ходи, шатры вооруженных цыган были раскинуты в болотистом поле и вечно сиял огнями дом сумасшедших. Мой спутник, Петровский, большой знаток привидений, обратил мое внимание на одно деревцо – черную настороженную березку, стоявшую за забором.

Оно чутко трепетало листьями от малейшего ветра. На золотистом закате каждый черный листок дерева выделялся особенно зловеще. Оно, такое, какое оно есть, настойчиво приходило к нему во сне каждую ночь. Петровский начал относиться к нему с суеверным вниманием. Позднее он открыл, что береза растет над мертвецкой, где

хранились до вскрытия тела убитых. Это было уже в самый разгар событий. Мы жили у рабочего Морева, и у него, как и у многих жителей окраины, в это время хранились куски свинца для отлива пуль. «Так, на всякий случай»...

Под грозные раскаты в Царском Селе прошел день рождения. Когда по ночам, возвращаясь домой, я проходил мимо города сумасшедших, я всегда вспоминал виденного во время службы безумного рядового Лысака и его быстрый шепот: «Правда е, правда не, правда есть, правда не».

Все быстрее и быстрее делался его учащенный шепот, тише и тише, безумный прятался под одеяло, уходил в него с подбородком, скрываясь от кого-то, сверкая только глазами, но продолжая шептать нечеловечески быстро. Потом он медленно подымался и садился на постель; по мере того как он подымался, шепот его становился громче и громче; он застывал на корточках с круглыми, как у ястреба, глазами, желтея ими, и вдруг выпрямлялся во весь рост и, потрясая свою кровать, звал правду бешеным, разносившимся по всему зданию голосом, от которого дрожали окна:

– Где правда? Приведите сюда правду! Подайте правду!

Потом он садился и, с длинными жесткими усами и круглыми глазами желтого цвета, тушил искры пожара, которого не было, и ловил их руками. Тогда сбегались служителя. Это были записки из мертвого поля, зарницы отдаленного поля смерти – на рубеже столетий. Силач, он походил на пророка на больничной койке.

В Петрограде мы вместе встречались – я, Петников, Петровский, Лурье, иногда забегал Ивнев и другие Председатели.

– Слушайте, друзья мои. Вот что: мы не ошибались, когда нам казалось, что у чудовища войны остался один только глаз и что нужно только обуглить бревно, отточить его и общими силами ослепить войну, а пока прятаться в руне овец. Прав ли я, когда говорю так? Правду ли говорю я?

– Правильно, – был ответ. Было решено ослепить войну. Правительство земного шара выпустило короткий листок: «Подписи Председателей земного шара» на белом листе, больше ничего. Это был первый его шаг.

– Мертвые! Идите к нам и вмешайтесь в битву. Живые устали, – гремел чей-то голос. – Пусть в одной сече смешаются живые и мертвые! Мертвые, встаньте из могил.

В эти дни странной гордостью звучало слово «большевичка», и скоро стало ясно, что сумерки «сегодня» скоро будут прорезаны выстрелами.

Петровский в черной громадной папахе, с исхудалым прозрачным лицом, улыбался загадочно.

– Чуешь? – коротко спрашивал он, когда внезапно грохотала при нашем проходе водосточная труба.

– Что воно случилось, никак в толк не возьму, – проговорил он и стал загадочно набивать трубку с тем видом, который ясно говорил, что дальше не то еще буде'т.

Он был настроен зловеще.

Позднее, когда Керенский был накануне свержения, я слышал удивленный отзыв:

– Всего девять месяцев пробыл, а так вкоренился, что пришлось ядрами выбивать.

– Что он ждет? Есть ли человек, которому он не был бы смешон и жалок?

В Мариинском дворце в это время заседало Временное правительство, и мы однажды послали туда письмо:

«Здесь. Мариинский дворец. Временное правительство.
Всем! Всем! Всем!

Правительство земного шара на заседании своем 22 октября постановило: 1) Считать Временное правительство временно не существующим, а главнонасекомствующего Александра Феодоровича Керенского находящимся под строгим арестом.

„Как тяжело пожатье каменной десницы“.

Председатели земного шара Петников, Ивнев, Лурье, Петровский, Я – „Статуя командора“».

В другой раз послали такое письмо:

«Здесь. Зимний дворец. Александре Феодоровне Керенской.

Всем! Всем! Всем!

Как? Вы еще не знаете, что Правительство земного шара существует? Нет, вы не знаете, что оно уже существует. Правительство земного шара (подписи)».

Однажды мы собрались вместе и, сгорая от нетерпения, решили звонить в Зимний дворец.

– Зимний дворец? Будьте добры соединить с Зимним дворцом.

– Зимний дворец? Это артель ломовых извозчиков.

– Что угодно? – холодный, вежливый, но невеселый голос.

– Артель грузовых извозчиков просит сообщить, как скоро выедут жильцы из Зимнего дворца?

– Что? Что?

– Выедут обитатели Зимнего дворца?

– А! Больше ничего? – слышится кислая улыбка.

– Ничего!

Слышно, что кто-то хохочет у другого конца проволоки.

Я и Петников тоже хохочем у этого конца.

Из соседней комнаты выплывает чье-то растерянное лицо.

Через два дня заговорили пушки.

В Мариинском в это время ставили «Дон-Жуана», и почему-то <в Дон-Жуане> видели Керенского; я помню, как в противоположном ярусе лож все вздрогнули и насторожились, когда кто-то из нас наклонил голову, кивая в знак согласия Дон-Жуану раньше, чем это успел сделать командор.

Через несколько дней «Аврора» молчаливо стояла на Нева против дворца, и длинная пушка, наведенная на него, походила на чугунный неподвижный взгляд – взор морского чудовища.

Про Керенского рассказывали, что он бежал в одежде сестры милосердия и что его храбро защищали воинственные девицы Петрограда – его последняя охрана.

Невский все время был оживлен, полон толпы, и на нем не раздалось ни одного выстрела.

У разведенных мостов горели костры, охраняемые сторожами в широких тулупах, в козлы были составлены ружья, и беззвучно

проходили черные густые ряды моряков, неразличимых ночью. Только видно было, как колебались ластовицы. Утром узнавали, как одно за другим брались военные училища. Но население столицы было вне этой борьбы.

Совсем не так было в Москве; там мы выдержали недельную осаду. Ночевали, сидя за столом, положив голову на руки, на Казанском, днем попадали под обстрел и на Трубной, и на Мясницкой.

Другие части города были совсем оцеплены. Все же несколько раз остановленный и обысканный, я однажды прошел по Садовой всю Москву поздней ночью.

Глубокая тьма изредка освещалась проезжими броневиками; время от времени слышались выстрелы.

И вот перемирие заключено.

Вырвались. Пушки молчат. Мы бросились в голоде улиц, походя па детей, радующихся снегу, смотреть на морозные звезды простреленных окон, на снежные цветы мелких трещин кругом следа пуль, шагать по прозрачным, как лед, плитам стекла, покрывавшим Тверскую, – удовольствие этих первых часов, собирая около стен скорченные пули, скрюченные, точно тела сгоревших на пожаре бабочек.

Видели черные раны дымящихся стен.

В одной лавке видели прекрасную серую кошку. Через толстое стекло она, мяукая, здоровалась с людьми, заклиная выпустить; долго же она пробыла в одиночном заключении.

Мы хотели всему дать свои имена. Несмотря на чугунную ругань, брошенную в город Воробьевыми горами, город был цел.

Я особенно любил Замоскворечье и три заводских трубы, точно свечи твердой рукой зажженных здесь, чугунный мост и воронье на льду. Но над всем – золотым куполом – господствует выходящий из громадной руки светильник трех завод<ских> труб, железная лестница ведет на вершину их, по ней иногда подымается человек, священник свечей перед лицом из седой заводской копоти.

Кто он, это лицо? Друг и <ли> враг? Дымописанный лоб, висящий над городом? Обвитый бородой облаков? И не новая ли черноокая Гурриэт эль-Айн посвящает свои шелковистые чудные волосы тому пламени, на котором будет сожжена, проповедуя равенство и равноправие? Мы еще не знаем, мы только смотрим.

Но эти новые свечи неведомому владыке господствуют над старым храмом.

Здесь же я впервые перелистал страницы книги мертвых, когда видел вереницу родных у садика Ломоносова в длинной очереди в целую улицу, толпившихся у входа в хранилище мертвых.

Первая заглавная буква новых дней свободы так часто пишется чернилами смерти.

Октябрь-ноябрь 1918

Астраханская Джиоконда*

Вы видели, наверное, покрытые старым теплым золотом потемневшие холсты, от времени точно одетые шелковистой кожей, особым пухом, налетом золотой пыли.

Вы видите руку великого художника, но подписи художника на картине нет.

На родине старинной живописи, в Италии, родные города берегут такие холсты, как свой единственный глаз.

Вы помните Джиоконду Леонардо да Винчи? Она была похищена каким-то своим безумным поклонником и после тысячи приключений все-таки вернулась в родной город, с великим торжеством. –

Города, столетиями хранившие старинное полотно, становятся для него лучшей рамой.

Рама из городского населения, из живых людей, – чем она хуже деревянной?

У Астрахани есть своя Джиоконда. Это – Мадонна кисти великого Леонардо да Винчи; никому не известная и затерянная, она входила в собрание Сапожниковых, потом была раскопана известным художником Бенуа и продана им в Эрмитаж за 100 тысяч руб<лей>.

Просто и мило.

Не может ли эта картина рассматриваться как общенародное достояние города Астрахани?

Если – да, то бесценная эта картина должна быть водворена на сроду вторую родину.

Петроград имеет достаточно художественных сокровищ, и взять из Астрахани Мадонну – не значит ли это отнять у бедного его последнюю овцу?

Кстати, Астраханская художественная галерея находится на Кутуме, против д<ома> Лбова.

Конец декабря 1918

Художники мира!*

Мы долго искали такую, подобную чечевице, задачу, чтобы направленные ею к общей точке соединенные лучи труда художников и труда мыслителей встретились бы в общей работе и смогли бы зажечь и обратить в костер даже холодное вещество льда. Теперь такая задача – чечевица, направляющая вместе вашу бурную отвагу и холодный разум мыслителей, – найдена. Эта цель – создать общий письменный язык, общий для всех народов третьего спутника Солнца, построить письменные знаки, понятные и приемлемые для всей населенной человечеством звезды, затерянной в мире. Вы видите, что она достойна нашего времени. Живопись всегда говорила языком, доступным для всех. И народы китайцев и японцев говорят на сотне разных языков, но пишут и читают на одном письменном языке. Языки изменили своему славному прошлому. Когда-то, когда слова разрушали вражду и делали будущее прозрачным и спокойным, языки, шагая по ступеням, объединили людей 1) пещеры, 2) деревни, 3) племена, родового союза, 4) государства – в один разумный мир, союз меняющих ценности рассудка на одни и те же меновые звуки. Дикарь понимал дикаря и откладывал в сторону слепое оружие. Теперь они, изменив своему прошлому, служат делу вражды и, как своеобразные меновые звуки для обмена рассудочными товарами, разделили многоязыкое человечество на станы таможенной борьбы, на ряд словесных рынков, за пределами которого данный язык не имеет хождения. Каждый строй звучных денег притязает на верховенство, и, таким образом, языки как таковые служат разъединению человечества и ведут призрачные войны. Пусть один письменный язык будет спутником дальнейших судеб человека и явится новым собирающим вихрем, новым собирателем человеческого рода. Немые – начертательные знаки – помирят многоголосицу языков.

На долю художников мысли падает построение азбуки понятий, строя основных единиц мысли, – из них строится здание слова.

Задача художников краски дать основным единицам разума начертательные знаки.

Мы сделали часть труда, падающего на долю мыслителей, мы стоим на первой площадке лестницы мыслителей и застаем на ней уже подымавшихся художников Китая и Японии – привет им! Вот что видно с этой лестницы мыслителей: виды на общечеловеческую азбуку, открывающиеся с лестницы мыслителей. Пока, не доказывая, я утверждаю, что:

1) *B* на всех языках значит вращение одной точки кругом другой или по целому кругу или по части его, дуге, вверх и назад.

2) Что *X* значит замкнутую кривую, отделяющую преградой положение одной точки от движения к ней другой точки (защитная черта).

3) Что *Z* значит отражение движущейся точки от черты зеркала под углом, равным углу падения. Удар луча о твердую плоскость.

4) Что *M* значит распад некоторой величины на бесконечно малые, в пределе, части, равные в целом первой величине.

5) Что *III* значит слияние нескольких поверхностей в одну поверхность и слияние границ между ними. Стремление одномерного мира данных размеров очертить наибольшую площадь двумерного мира.

6) Что *U* означает рост по прямой пустоты между двумя точками, движение по прямому пути одной точки прочь от другой и, как итог, для точечного множества, бурный рост объема, занимаемого некоторым числом точек.

7) Что *Ч* означает пустоту одного тела, заполненную объемом другого тела, так что отрицательный объем первого тела точно равен положительному объему второго. Это полый двумерный мир, служащий оболочкой трехмерному телу – в пределе.

8) Что *L* значит распространение наиболее низких волн на наиболее широкую поверхность, поперечную движущейся точке, исчезание измерения высоты во время роста измерений широты, при данном объеме бесконечно малая высота при бесконечно больших двух других осях – становления тела двумерным из трехмерного.

9) Что *K* значит отсутствие движения, покой сети и точек, сохранение ими взаимного положения; конец движения.

10) Что *C* значит неподвижную точку, служащую исходной точкой движения многих других точек, начинающих в ней свой путь.

11) Что *T* означает направление? где неподвижная точка создала отсутствие движения среди множества движений в том же направлении, отрицательный путь и его направление за неподвижной точкой.

12) *D* значит переход точки из одного точечного мира в другой точечный мир, преобразованный присоединением этой точки.

13) Что *G* значит наибольшие колебания, вышина которых направлена поперек движения, вытянутые вдоль луча движения. Движения предельной вышины.

14) Что *H* значит отсутствие точек, чистое поле.

15) Что *B* значит встречу двух точек, движущихся по прямой с разных сторон. Борьба их, поворот одной точки от удара другой.

16) Что *C* значит проход одного тела через пустое место в другом.

17) Что *Щ* означает разбивку поверхности, целой раньше, на разные участки, при неподвижном объеме.

18) Что *P* значит разделение тела «плоской пещерой» как след движения через него другого тела.

19) Что *Ж* значит движение из замкнутого объема, отделение свободных точечных миров.

Итак, с нашей площадки лестницы мыслителей стало ясно, что простые тела языка – звуки азбуки – суть имена разных видов пространства, перечень случаев его жизни. Азбука, общая для многих народов, есть краткий словарь пространственного мира, такого близкого вашему, художники, искусству и вашей кисти.

Отдельное слово походит на небольшой трудовой союз, где первый звук слова походит на председателя союза, управляя всем множеством звуков слова. Если собрать все слова, начатые одинаковым согласным звуком, то окажется, что эти слова, подобно тому, как небесные камни часто падают из одной точки неба, все такие слова летят из одной и той же точки мысли о пространстве. Эта точка и принималась за значение звука азбуки, как простейшего имени.

Так, 20 имен построек, начатых с *X*, защищающих точку человека от враждебной точки непогоды, холода или врагов, достаточно прочно несут на своих плечах тяжесть второго утверждения и т. д.

Задачей труда художников было бы дать каждому виду пространства особый знак. Он должен быть простым и не походить на

другие. Можно было бы прибегнуть к способу красок и обозначить *л* темно-синим, *в* – зеленым, *б* – красным, *с* – серым, *л* – белым и т. д. Но можно было бы для этого мирового словаря, самого краткого из существующих, сохранить начертательные знаки. Конечно, жизнь внесет свои поправки, но в жизни всегда так бывало, что вначале знак понятия был простым чертежом этого понятия. И уж из этого зерна росло дерево особой буквенной жизни:

Мне *Вэ* кажется в виде круга и точки в нем:

Ха – в виде сочетания двух черт и точки:

Зэ – вроде упавшего *К*, зеркало и луч:

Л – круговая площадь и черта оси:

Ч – в виде чаши:

ЭС – пучок прямых:



Но это ваша, художники, задача изменить или усовершенствовать эти знаки. Если вы построите их, вы завяжете узел общезвездного труда.

Предполагаемый опыт обратить заушный язык из дикого состояния в домашнее, заставить его носить полезные тяжести заслуживает внимания.

Ведь «вритти» и по-санскритски значат «вращение», а «хата» и по-египетски «хата».

Задача единого мирового научно построенного языка все яснее и яснее выступает перед человечеством.

Задачей вашей, художники, было бы построить удобные меновые знаки между ценностями звука и ценностями глаза, построить сеть внушающих доверие чертежных знаков.

В азбуке уже дана мировая сеть звуковых «образов» для разных видов пространства; теперь следует построить вторую сеть – письменных знаков – немые деньги на разговорных рынках.

Конечно, вы будете бояться чужого вдохновения и следовать своему пути.

Предлагаю первые опыты заумного языка как языка будущего, с той оговоркой, что гласные звуки здесь случайны и служат благозвучию. Вместо того, чтобы говорить:

«Соединившись вместе, орды гуннов и готов, собравшись кругом Аттилы, полные боевого воодушевления, двинулись далее вместе, но, встреченные и отраженные Аэцием, защитником Рима, рассеялись на множество шаек и остановились и успокоились на своей земле, разлившись в степях, заполняя их пустоту», – не следовало ли сказать:

«*Ша + со* (гуннов и готов), *вэ* Аттилы, *ча по, со до*, но *бо + зо* Аэция, *хо* Рима, *со мо вэ + ка со, ло ша* степей + *ча*».

Так звучит с помощью струн азбуки первый рассказ.

Или: «*Вэ со* человеческого рода *бэ го* языков, *пэ умов вэ со ша* языков, *бо мо* слов *мо ка* разума *ча* звуков *по со до лу* земли *мо со* языков *вэ* земли».

То есть: «Думая о соединении человеческого рода, но столкнувшись с горами языков, бурный огонь наших умов, вращаясь около соединенного заумного языка, достигая распылением слов на единицы мысли в оболочке звуков, бурно и вместе идет к признанию на всей земле единого заумного языка».

Конечно, эти опыты еще первый крик младенца, и здесь предстоит работа, но общий образ мирового грядущего языка дан. Это будет язык «заумный».

13 апреля 1919

Недалеко от черты прибоя, на полудиком острове Кулалы, вытянутом в виде полумесяца, среди покрытых травой песчаных наносов, где бродил табун одичавших коней, стояла рыбацкая хижина. Сложенные паруса и весла указывали, что это был стан морских ловцов. Здесь жил ловец Истома и его отец, высокий, загорелый великан с первой сединой в бороде. Зимой они громили тюленей и, увидев зверя, когда он, похожий на человека, выстал в море и смотрел любопытными глазами, бросали в него копьё с подвижным кокотом.

Теперь они собирались в весеннюю путину и то подымались, то спускались из избушки на сваях около старой ивы; с веток ее падали морские сети, а около корней стояла смола. Заплаты, свежеположенные на парус, заново черная от смолы бударка, сверкающее солнце, сверкающее на волнах и на смоляных боках лодки, громадная белуга, лежавшая па лодке, свесив на землю свою махалку, орланы-белохвосты, сидевшие на отмели, другой – черной точкой сидел на верхушке песчаного обрыва, и тучи уток со свистом падали откуда-то сверху на то подымавшееся, то опускавшееся море, – вот что было вокруг.

Рано утром лодка весело побежала в город, охваченный тогда славой Разина. Полотняное небо паруса шумело над ловцами, и мир делался тесен и близок.

Трава, в которой свободно скроется верблюд, с обеих сторон склонялась над водой. Здесь они увидели лодку; охотник правил одним веслом; лицо его было настолько искусано мошками, что казалось изуродованным оспой. Он почти не-видел; мертвый кабан лежал на лодке.

Сонные черепахи удивленно подымали свои головы или прыгали в воду, а я воде проворно скользили красно-золотистые ужи.

Иногда их было так много, что казалось, бесчисленные травы волнуются течением. Под шум согнутого паруса быстро скользила ловецкая лодка. Она пристала па Кутуме и там, где стояли старые ивы, покрытые рыжим ивовым волосом, отчего они походили на

поставленных на голову людей, а прозрачные ветви были одеты гнездами цапель, бросила в песок тяжелую кошку.

Ловцы вышли на берег.

Мимо Кремля, через Белый город и Житный город, проходя то Вознесенскими, то Кабацкими воротами, ловцы, сгибаясь от осетра, положенного на плечи, пошли мимо рядов с ловецкой сбруей, к знакомому старообрядцу-помору.

В одном месте их остановило стадо, красного степного скота. Конные пастухи гнали их по узким улицам, и их кривые рога теснились как речные волны. В самую, гущу их врезалась тяжелая телега с зеленовато-белыми телами осетров. Там степняк ехал на стонавшем верблюде, здесь на белых украинских волах – чумаки.

У берега стояли суда с парусами из серебряной парчи и около них живописные женщины Востока. Вольные сыны Дона, в драгоценных венках, усыпанных крупным жемчугом, и серебряных зипунах, там и здесь мелькали на улицах. Имя Разина <...>^[2].

Черноглазые казачки в вышитых сорочках стояли около <...> глиняных плетней и широко улыбались всему миру; в черных покрывалах проходили татарки. Закутанные в белое, на верблюдах проезжали степные женщины.

Старик-помор встретил их на пороге своей землянки, обнесенной забором из соломы и грязи. Так, спасаясь от зноя и пожаров, жили русские того времени.

Когда они спустились по ступенькам вниз, от темноты они ничего не могли некоторое время увидеть, но потом заметили земляные лавки, покрытые восточными коврами, и несколько тяжелых кубков на столе.

Дородная, немного тучная женщина вышла навстречу гостям. Ее лицо было покрыто сетью мелких морщин и было старчески милостиво. В красном углу сидел гость – индус. Что-то прозрачное в черных глазах и длинные черные волосы, загибаясь, падавшие на плечи, давали ему вид чужестранца. Он рассказал новости, привезенные недавно из Индии, некогда столь короткой, что она самому небу жертвовала только цветы. Как опора и надежда браминов, Саваджи восстал против коварного Ауренгзиппа, быстро основав государство махратов. И как, с другой стороны, среди яростной борьбы поклонников Вишну и поклонников Магомета

разливается кроткое учение гуру (учителей) Нанака и Кабира; как проповедующие общее братство и равенство для всех людей сикхи (ученики) выбрали своим пророком сначала Говинда, а потом Тег Бохадур. И как преследует сикхов вероломный Ауронгзипп, не брезгуя ни ядом, ни наемным убийцей, и как в Китае недавно кончилось восстание Чанг-Гиент-шонга, и как дух свободы пылает над всем миром.

Рассказывал и про Галай-гала-яму индусов. Гневно рассказывал про Китай, как там бедняк за полтинник, врученный его семье, соглашается идти на казнь вместо другого и кладет на доску свою морщинистую шею и покрытую седой косой голову, как там нельзя найти земли величиной с ладонь, которая бы не была покрыта колосьями; как человек возделывает такие неприступные высоты, что, казалось, у него должны были бы быть крылья, чтобы залететь туда, а собирая морскую капусту, человек приступает к возделыванию пространств моря.

И многое другое рассказал индус; глубокой ночью разошлись спать.

Истома заснул, думая о пленнике, брошенном в яму, по лицу которого ползает жаба; о правителях, которым приносят корзины вырванных глаз; о правителях, зашивающих рты слишком говорливым и разрезающих рот слишком молчаливым; о казни плотанием песка до смерти. Утром Истома двинулся на рынок.

Он пересек шествие; большое знамя, на котором был изображен положенный на костер кабан, развевалось впереди отряда. Всадники в черных бурках, на сухопарых злых конях ехали за ним. Мелькали их черные шапки с малиновым верхом.

Это был Зажарский стрелецкий полк. В толпе же чаще и чаще слышалось имя Разина.

Взволнованные люди входили и выходили через все семь ворот Белого города: Мочаговские, Решеточные, Вознесенские, Проломные, Кабацкие, Агаряпские, Старопосадские.

Здесь он снова встретил индуса Кришнамурти. Кришнамурти с раннего утра ушел за город, где зеленые сады застыли над тихими речками, и остановился в немом изумлении.

– Аум, – тихо прошептал он, наклоняясь над колосом синих цветков.

– Что? Дивуешься божьему миру? Дивуйся, дивуйся! – произнес за его плечами голос древнего старика.

В лаптях, в синих портах и белой рубашке, он стоял, опираясь на палку, ветхий и столетний. Лебедь времени, Кала-Гамза, трепетал над ним, над его седыми кудрями. Он был стар. Оба поняли друг друга. Потом Кришнамурти взял с собой мальчика и пошел с ним кормить диких бесприютных собак.

Он пошел на рынок у Кабацких ворот.

Здесь на открытых столах гуляла повольница. Слышались отрывочные слова, восклицания:

– Друг, иди сюда! Тяжко мясу без мяса! Тяжко другу без друга, как соловью без луга.

– На, пей! Веселись душа!

Смуглые воины пировали под открытым небом.

– Слушай: видеела жаба, как коня куют, протянула и свою ногу: «Куй, кузнец!» Так и ты, друг, – воскликнул смуглый, почти черный человек, ударяя смуглой рукой по столу. Вокруг нее, точно веревки, вились тугие жилы, изобличая в нем силача-воина.

– Э! Рыбу водой не поят. Дыня или тыква? Хохот покрыл слова говорившего.

В это время резкий стон прорезал многоголосый говор толпы.

Это проходил среди толпы высокий малый в белой рубашке и зипуне ярко-красного цвета. В руках у него был дикий лебедь, связанный в крыльях тугими веревками.

– Лебедь, живой лебедь! – Казалось, его никто не слышал.

Индус не принадлежал к расколу Шветамбара, требовавшему от учеников ходить нагими, быть «одетыми в солнце», но его вера требовала делать добрые дела всем живым существам, без изъятия, – ведь в лебеда могла переселиться душа его отца. Он решил освободить прекрасного пленника.

Там, на крутом берегу Волги, развязал брамин дикую птицу, и скоро та в последний раз блеснула в синеве белой серебряной точкой.

А брамин по-прежнему стоял над темной водой.

О чем он думал?

Как ежегодно привозят верблюды священную воду Ганга?

И как, будто среди молитвенных голосов, совершается обряд свадьбы двух рек, когда из длинногорлого тяжелого кувшина рукой

жреца вода Ганга проливается в темные воды Волги – Северной невесты!

Истома его догнал.

– Это что – лебеда освободить! Нет, ты дай свободу всему народу, – сказал он.

Индус молчал. Он думал, как далекий гуру (учитель) из Индии руководит его разумом здесь. И вдруг, повернувшись, сказал: «Ты увидишь мою родину», – и после повернулся и ушел, залитый лучами солнца, в темно-зеленом халате.

А Истома размышлял, думая о его речах и думая о ползавшем на руке муравье: «Кто этот муравей? Воин? Полководец? Великий учитель своего народа? Мудрец?»

А около тихо плескалась Волга-невеста.

На другой день ловцы, справив рыбацкую сбрую и распрощавшись с милым старообрядцем, двинулись в обратный путь.

Дорогой они встречали расположенные в виде узких полозьев челны, на которых высился громадный воз хвороста; видели бударку, в которую, как первобытный парус, была воткнута густая зеленая береза. И ветер вез лодку с ее зеленым парусом. Бабы-птицы поодаль тянули свою тоню, и в их огромных клювах-мешках бились еще живые рыбы. Видели охотника, надевшего тыкву на голову и хватавшего за ноги живых уток.

Когда стемнело, вышли на берег вечером и разложили костры.

Долго за полночь шла беседа про страшную «чуму сетей», когда вдруг на огромном расстоянии в одни сутки гибнут все сети, захворавшие болезнью сетей, особой водорослью; про страшные сны, когда не человек жарит осетров, а осетр раскладывает костер и жарит пойманного человека. Небо Лебедии сияло своими зеленоватыми звездами; Волга, журча, вливалась в море тысячью мелких ручьев. Черни были охвачены тишиной и сном. Просыпаясь утром, Истома с удивлением заметил странные кусты около лодки.

Вдруг кусты зашевелились, и голые, покрытые маслом люди, сбрасывая с себя ветки, бросились к ним.

– Есир – невольник и раб, – пронесся в воздухе несколько раз воинственный крик...

В то же время лодка была занята другими; они, быстро работая веслами, отплыли от берега. Истома был оглушен сильным ударом

кулака. Он помнил над собой лицо, лишенное, как ему показалось, носа, плоское как доска.

Когда Истома очнулся, он был связан по рукам и ногам и окружен вооруженными степными всадниками, составившими совет.

Среди горок камней, золы и человеческих костей был расположен степной аул. Древние зеленые изразцы лежали среди песка и пепла сожженных на костре человеческих костей. Редкие травы трепетали широкими кистями, да одинокий жаворонок резвой рысью бежал по песчаным волнам пустыни.

Вот он остановился и сел на синем обломке кувшина. Здесь была Золотая Орда, и лишь обломки башни темно-синего полива да старинный камень с татарскими письменами напоминали об этом.

Да змея бесшумно скользила около надписи: «Нет бога, кроме бога», а черноволосая девушка этих мест ходила с медной деньгой, вплетенной в косу. И надпись древнего хана: «Я был – мое имя высоко» – тонула в черном шелку ее кос.

Вот она зажгла костер и села на землю, раздумывая про Сюмерулу, срединную гору мира, где сходятся души мертвых предков пить молоко кобылиц.

Старый калмык пил бозо – черную водку калмыков.

Вот он совершил возлияние богу степей и пролил жертвенную водку в священную чашу.

– Пусть меня милует Чингиз богдо-хан, – важно проговорил он, опустив голову.

Великий Чингиз казался ему беспечным богом войны, надевшим как-то раз на плечи одеяние человеческой судьбы. Любимец степной песни, он и до сих пор живет в степи, и слова славы ему сливаются со степным ветром.

Первую чашку он плеснул в огонь, вторую – в небо, третью – на порог. И бог пламени Окын-Тенгри принял жертву. Тысяча рук окружала его. Окруженный заревом, он выскочил из пламени, и с невыносимым для смертного уха звуком залязгали, застучали и запрыгали одна о другую его красные челюсти, а белые мертвые глаза страшно уставились на смертного. Зарево тысячи рук окружило его. Словно черным парусом белое-море, свирепые зрачки косо пересекали глаза. Страшные белые глаза подымались к бровям головой

мертвого, повешенной за косу. Удар ветра, и он исчез, и вновь из костра выступил черный котел, сменив багрового духа.

Коку, его дочь, подошла к нему. Ее косы, завернутые в шелковые чехлы, падали ей на грудь.

Вот она повернула голову, и вся миловидность Китая сказала на темном лице; сквозь черный загар выступала степная алая кровь, живые глаза сверкали, как два черных месяца, умом и радостью. Малиновая, шитая золотом, шапочка была у ней на голове.

Она помнила, что девушка должна быть чистой, как рыба чешуя, и тихой, как степной дым, и бесшумно села на землю в своих черных шароварах.

И снова лицо ее, как пламенеющий уголь, склонилось над землей.

А калмык грезил.

Он мысленно садится на коня, на аршин быстрее мысли, и скачет в великой охоте Чингиза; в ней участвовали все покоренные Чингизом народы, и почти вся Средняя Азия была охвачена кольцом великой облавы. Здесь несется ветроногий табун диких коней, там падает вилорогий первобытный бык, а здесь тетива лука вышиной с человеческий рост посылает стрелу в курчавого красного теленка. Полунагие наездницы с дикими криками проносятся по степи, и там и здесь звенят тетивы.

Старый калмык выпил еще чашку бозо, когда всадник с орлом на руке подъехал к нему. Он сообщил про приближающегося киргиза с невольником, и они вдвоем выехали к нему навстречу. Кони бодро переехали небольшую речку.

Утренние голые люди, обмазанные для борьбы жиром тюленя, были теперь одеты и громко обсуждали что-то. На Истома надели мешок для муки, сделал дыры для рук и головы, и, посадив его на седло и связав ноги, все поскакали в кочевье.

Там к нему подошел старик и коротко сказал: «Моя есир». Истома знал все страшное значение этого слова. Вихорь и огонь удара плети перевели слово.

Вечером они двинулись в путь.

Киргиз нараспев пел «Кудатку-Билик». Истома бежал за Ахметом. В белой войлочной шляпе, в разноцветном халате Ахмет

покачивался на седле и помахивал плетью, забыв, казалось, про пленника.

Степной неук бежал легкой рысью. Истома со связанными руками бежал сзади.

От частых, похожих па песню беса, ударов хвоста глаза почти ослепли и ничего не видели. Полотно рубашки лопнуло и разорвалось, спустившись на связанные руки и шею. Слепни и оводы, густо усевшись на теле, зеленой сеткой своих жадных зеленых глаз покрывали плечи. Другие тучей вились около. Тело распухло от укусов, жары и зноя. Ноги были в запекшейся крови. От штанов осталась рваная полоса.

Когда они доехали до Орды, стай черномазых детей окружила его, но киргиз поднял плетью. Что-то вроде жалости показалось на медном лице. Покачал головой и ослабил веревки; дал молока и первый раз сказал: «Ашай». Добрая старуха протянула ему черпак воды, и он выпил как дар неба. Здесь Ахмет за 13 рублей продал своего невольника. Новый купец был много добрее. С этого времени жить стало лучше. Его повели купаться. Дали кумачовую рубашку. «Якши рус», – сказал Ахмет, любуясь им. Три дня он отдыхал в духане.

Старик-горец беседовал с ним и делил с ним свой кусок сыра, лечил его ноги.

Когда он сидел на земле в своей широкой бурке, а стриженный череп подымался над буркой, как горный ястреб, ИстOME делалось легче. Ему казалось, что рядом такой же невольник, как и он.

Скоро их догнал большой караван рабов, где были грузины, шведы, татары, русские, один англичанин. Тогда из русских невольников набиралась личная охрана отборных полков, как китайского богдыхана, так и турецкого султана, и великого могола в Индии. Скоро караван снова двинулся, и верблюды забряцали бубенчиками.

Дорога шла голой песчаной степью, где только жаворонки и ящерицы бегали среди кустов, да изредка подымался огненноокий, издали похожий на волка, степной филин и с трудом уносил схваченного могучей лапой зайчонка. Истома шагал за своим верблюдом по белым солончакам и бесконечному песку. В одном караване с ним была только Ядвига. У ней были длинные золотистые

волосы, а в голубых глазах вечно смеялась и дразнила русалка – ресниц голубая русалка.

Для нее между горбами верблюда, похожими на песчаные холмы, покрытые кустами ковыля, был сделан особый шатер. С ног до головы она была одета в белое покрывало.

– Як на море! Совсем як на море! – восклицала она иногда и высовывала из шатра ручку.

Иногда она спрашивала про пашу: «Вин какой? Чи он седой? Чи он грозный?»

И задумывалась.

И когда венок обвил ее голову, она вдруг сделалась хорошенькой русалкой, зачем-то сидевшей на верблюде.

Синеглазая, златоволосая, закутанная в складки полупрозрачного полотна.

Думает ли она о празднике Ярилы или о празднике весенней Ляли? Но вот большая бабочка, увлекаемая ветром, ударилась, ей о щеку, и ей кажется, что это она стучится в окошко родимого дома, бьется о морщинистое лицо матери.

– Вот такой же бабочкой прилечу и я, – шепчет она. Между тем показались горы, и у их подножья остановились на ночь.

Отсюда они двинулись на буйволах. Эти – могучие быки, с вытянутыми вдоль затылка широкими рогами, с черно-синими глазами, где вечно светится пламя вражды к людям.

Если на гладкой, лишенной волоска, коже там и здесь торчали редкие волоски, то лишь для того, чтобы плотнее пристала к телу рубашка степной черной грязи; с нею буйволы не расставались, спасаясь от своих мучителей – тучи оводов. Первая глиняная рубашка – ее буйволы стали носить раньше человека. Более всего они любили воду и, раз увидев ее, бросались в нее так, что были видны лишь ноздри и глаза. Так они были способны проводить целые сутки.

На черном хребте одного из них в белой рубашке персианки и в шароварах сидела Ядвига и уж беспечно плела венки и гадала, отрывая лепестки: «Чи любит, чи нет?» Дорога шла горами. Как глаз бога иногда сверкал над пустынными хребтами снежный утес, а иногда с высот виден был синий шар моря, какой-то небесный в своей синеве, и на нем косо скользил одинокий парус.

Мансур обращался ласково, много шутил и часто подходил поправить покрывало.

– Аллах велик, – говорил он Истома, – хочет – я тебя купил, и я – твой господин, а захочет – и я тебе целуй-целуй руку.

В Испагани караван разделился, и больше Истома не видел Ядвиги.

С большими остановками, почти через год, Истома попал в Индию.

Его проводник Кунби был сикхом; нужно ли удивляться, что однажды Истома обратился к учителю и сказал: «Я тоже сикх».

Кунби радостно встретил новообращенного. Нужно ли удивляться, что однажды Истома и Кунби вместе бежали?

Кунби научил его спокойно выжидать в чаще тростников, когда мимо мчался, топчя рощу, посланный вдогонку слои; спать на широких ветках, деревьев, где только что пробежала, кривляясь, обезьяна. И скоро, как два заклинателя змей, они начали скитальческую жизнь; сонная гремучая змея спала у них в выдолбленной тыкке, в соломенной корзине; белые ручные мыши, наученные прятаться, жили в грецком орехе.

Он научился понимать сложенный из сосновых иголок муравейник, когда увидел жилые горы храмов и видел медные кумиры Будды много раз больше размеров человека. Раз он увидел в пещере, в лесу, нагого отшельника; борода падала к его ногам. Уже несколько лет старик держал в руках сухой хлеб, и теперь насквозь хлеба прошли длинные извилистые ногти. Старик не менял своего положения, руки его не умели двигаться, и ногти прорастали предметы, как корни растения, белые и кривые. Был страшен его вид. «Не весь ли народ индусов перед ним?» – думал Истома. И теневые боги трепетали около него темными крыльями ночных бабочек. Мудрец мечтает уйти из области людей и всюду вытравить свой след, чтобы ни люди, ни боги не сумели его найти.

Исчезнуть, исчезнуть. Подобно своим учителям, он должен победить в себе гордое желание стать богом. И если кто-нибудь изумленный назовет его богом, мудрец сурово воскликнет: «Клевета!»

Беги обрядов, ведь ты не четвероног, у тебя нет копыт. Будь сам, самим собой, через самого себя, углубляйся в самого себя, озаряемый умным светом. На высоте, куда посмеет взлететь не каждый стриж,

видел воздушные храмы, висевшие ласточкой над грозной пропастью. Синее море билось у подножия пропасти. Как глаз увенчивает собой тело, так же спокойно этот труд человека заканчивал дело природы, просто и строго подымаясь на недоступном утесе.

Видел храмы, множеством подземных пещер вырубленные в глубине каменной первобытной породы. Сумрак вечно царил тамгмостами однозвучно звенели ручьи. Пышно одетые кумиры, вытесанные из камня, толпою теснились вдоль стен и спокойной, равной ко всему, улыбкою встречали путника по подземному храму, покрытые ручьями влаги.

Видел темные толпы слонов, вырубленных из каменной породы, поднявших свои бивни, провожая богомольца по бесконечной лестнице, ведущей на вершину отвесного утеса.

Там и здесь на выступах зданий сидели белоснежные павлины, любимые людьми, но нелюдимые. Насельники запустевших храмов, стая диких обезьян, встречала их недовольным лаем тысячи оттенков и градом брошенных орехов.

Хоботы каменных слонов тянулись вдоль дороги. Храмы, стыдливо прячущиеся за кружевом своих стен, и храмы, несущие свою веру на вершину недоступного горного утеса, чуть ли не за облака, храмы, похожие в своем стремлении кверху на стройную женщину гор, несущую на плече кувшин воды, и храмы, стены которых сделаны синевой реки и белизной облаков, строгие лестницы в плубь неба и в плубь подземного мира, – все они напоминали, что <...>

В глубине лесных пещер пустынники, неподвижно протянувшие свои руки к небу, давшие обет не шевелиться. Пространство между ними было давно уже заткано паутиной паука. Мыши безбоязненно пробегали по их ногам, а птицы садились на седую взлохмаченную голову. Послушники кормили старцев. И рядом поклонники мрачной богини Кали. Шелковой петлей в беззвучной глубине черных рощ, около толстых и гладких стволов, они ловили своих жертв и неслышным поворотом рычага ломали позвонки шеи в честь таинственной богини смерти.

И рядом веры, не знающие храмов, потому что лучшая книга – белые страницы – книга природы, среди облаков, а путь рождение – смерть лучшая молитва. Видел у ворот храма святого; он с

отвращением, точно горькое лекарство, пил воду из кружки для милостыни, одетый в одежды, снятые с чумного покойника, трупов. Он говорил: «Нужно плакать, когда мы рождаемся, и смеяться, когда мы умираем». Он снова закутался в свой плащ, снятый с усопших. Около храмов видел бесноватых; с неслыханной силой они разрывали на себе веревки и пытались убежать в лес.

Каждое утро на заре Истома видел молящегося брамина; он стоял на одной ноге, приставив другую к лодыжке, и, повернутый па восток, широко открытыми руками, казалось, обнимал небо. Его черное тело застыло; руки расходились, точно ветки стройного дерева. Он шептал, беззвучно шевеля губами: «Тот Савитар варениам бхарго дхимахи дхно ио нах пракодайтат девазия» («Станем думать о солнечном боге, он взошел осветить наши разумы»).

В то же время крик проснувшегося павлина покрыл пожаром тихую молитву, и зелено-синие звезды на перьях птицы походили на темно-синие глаза неба сквозь древесную листву.

Зеленые сады над развалинами старых храмов, ветки и корни деревьев, впившиеся в белый камень лестницы, походили на учение браминов: все суета, все обман. Не так ли хорошенькую рассеянную головку пишет рука на старой книге в тяжелом переплете?

И то, что ты можешь увидеть глазом, и то, что ты можешь услышать своим ухом, – все это мировой призрак, Майя, а мировую истину не дано на увидеть смертными глазами, ни услышать смертным слухом.

Она – мировая душа, Брахма.

Она плотно закрыла свое лицо покрывалом мечты, серебристой тканью обмана. И лишь покрывало истины, я не ее самое, дано видеть бедному разуму людей. Исканием истины казалась эта страна Истома, исканием и отчаянием, когда из души индуса вырвался стон: «Все – Майя!» Он хорошо помнил, как он шел в зеленой роще, и вдруг шум крыл нарушил тишину, и на белый столб покрытого зеленью храма взлетел павлин, и ветер белоснежных перьев, поток малых и больших глаз, небом звезд покрывавших серебряное тело, круто падая вниз вьюгой седых морозных звезд, холодных глаз, казались ему собранием глаз великих и малых богов эти страны.

Пять лет провел Истома в Индии. Он был на Яве и видел славные храмы и улыбающегося Будду из меди во столько раз большего

человека, во сколько раз человек больше муравья, и темные громады каменных слонов под водопадом. Когда его сильно потянуло на родину, он вернулся вместе с одним караваном, посетил свой остров, но ничего не нашел, кроме сломанного весла, которым когда-то правил.

Грустно постояв над знакомыми волнами, Истома двинулся дальше.

Куда? – он сам не знал.

1918–1919

Всем! Всем! Всем!*

Воли! Воля будетлянская!

Вот оно! Вот оно! Желанное, родимое! Упавшее из птичьей стаи. Наше прекрасное откровение и сновидение в одеждах чисел.

Дар права всем государствам земного шара (все равны – нет любимцев и пасынков) быть разбитыми через 3^n дней после своей победы. Равным образом подыматься и с пением лететь кверху через $<2^n>$ дней после падения ислома крыл о камни рока. Падать в пропасть через 3^n дней после стояния на горе.

И до нас иные пытались писать законы, искушали свои силенки в пении законов.

Бедные! Они думали, что это легче, чем писать стихи? А в законотворчестве видели богадельню глупости (Дизраэли). Разбитые на первом поприще, они шли ко второму, как, в сторону слабейшего сопротивления.

Бедные! Главным украшением своей законоречи они считали дуло ружья. Свои своды-законы они душили боевым порохом и думали, что в этом состоит хороший вкус и изящные движения, вся соль в искусстве «пения законов».

Красноречие своих законов они смешивали с красноречием выстрелов – какая грязь! Какие порочные обычаи прошлого! Какое рабское поклонение перед прошлым.

Они нас обвиняют, что мы ступаем сто первым копытом по дороге законодателей.

Какая черная клевета!

Разве до нас строились законы, которых нельзя нарушить! Только мы, стоя на глыбе будущего, даем такие законы, какие можно не слушать, но нельзя ослушаться. Они нерушимы.

Сумейте нарушить их!

И мы признаем себя побежденными!

Кто сможет нарушить наши законы?

Они сделаны не из камня желания и страстей, а из камня времени.

Люди! Говорите все вместе: «Никто!»

Прямые, строгие в своих очертаниях, они не нуждаются в опоре
острого тростника войны, который ранит того, кто на него опирается.
N

<Декабрь 1920–1921>

Малиновая шашка*

Над страной прокатилось несколько волн.

Прошла та волна, когда железнодорожников и скромных учителей заставляли учить наизусть «Коте мой сырый, коте мой белый, коте волохатый», и те не знали, что им делать, и слезы веселого хохота скатывались на седые усы; прошла и та пора, когда немцы, уходя, дали напоследки грозный выстрел из пушки в зеркало воды, и водяное дерево, увлекая с собой тучу мертвых рыб, вдруг взвилось кверху дыханием кита, сразу обезрыбив пространство речки, а на дорогах неубранными лежали мертвецы с беспомощно запрокинутой кверху рукой, расстрелянные неизвестно кем и когда.

Теперь было время советской волны.

Торговки сиротливо стояли над корзинами хлеба, молодые лавочки таинственно проникали в глубину вашей души в поисках за созвучными струнами и иногда, подсовывая товар, шептали: «Знаете, это, кажется, в последний раз. Я слышал, завтра будет приказ».

Дул ветер Москвы. Суровый всадник голодающего севера, казалось, с какой-то неохотой вступал в завоеванный край, точно в самом начале встретил женщину с ведрами или заяц с странной храбростью перебежал дорогу. Парус Оки высоко стоял над Украиной, и надпись «я страшен» зияла на нем.

Бежавшие из Москвы, как из зачумленного города, люди, каким-то сплавом бога и черта захватившие места в поезде, и много раз по дороге услышав грустную просьбу от стариков: «Поклонитесь от нас белому хлебу», – точно не надеялись старые седые люди когда-нибудь увидеть его опять, – эти люди с ужасом видели за собой догонявший их призрак Москвы, точно желтые зубы коня низко наклонялись над цветами, срывая цветы. Раем – с пулеметом у входа, чтобы не разбежались, вытянув руки, райские жители, – был север.

Конь гражданской войны, наклоня желтые зубы, рвал и ел траву людей.

<...> Ничто не помогало. Не помогали яркие щегольские лубки на углу улиц – взятия Одессы, с похожими на глупую красную гвоздику взрывами снарядов в белых клубках дыма и Бовой-

королевичем, завоевателем приморского города. Не помогал и чертеж советских владений с запоздавшей ниткой, как остановившаяся стрелка часов.

<...> Все изменялось. Люди перестали быть людьми. Эта Кожа одевала их тело, как крышка часов одевает сложный строй колес и гвоздиков, тела людей были заведенные человекообразные снаряды, жестокие куклы, жестокие паяцы, готовые взорваться и ответить расстрелом. И вы, в глухом переулке встречая живой глаз, осторожно отводили его, как натянутую проволоку пороховой засады. А иногда за облаками лиц, за облаками глаз вам чудились хитроумные, полные научной тайны чертежи, постройки рока; и слова и дела были какой-то облачной зарей, харей и личиной на многоугольнике, пружине рока.

Было ли это в поле среди нив, в саду или гостях, два человека встречались, как две заведенные куклы, со страшными написанными глазами, куклы с пружинами смерти в груди, не знавшие, взорвутся ли они от прикосновения руки, от слов «дорогой товарищ, который час?». Смерть проволокой опутывала людей. Старое благодущие, где ты? И в меру уходившей из-под ног почвы подымалась волна молчаливого разгула и расстрелов за нею. Эти расстрелы каждый день печатались жирной прописью. И вот, воскликнув «камо бегу от лица твоего?», вы вдруг бежали из города в глухую усадьбу, в зеленый плодовый сад, где цвели вишни и яблони, ворковали голубки и мяукали иволги.

Но и этот мир уединения, горлинок и иволг перерезывали одинокие выстрелы. Однажды в эту уединенную усадьбу упал камень, на два дня возмутивший ее тихие воды. Приехал П. Отворив ворота и подходя к ступенькам усадьбы, он сделал два выстрела: один в небо, – другой в землю и поднялся на старое, потемневшее крыльцо. Я его когда-то знал.

Белокурые волосы, которые я когда-то знал выющимися, сейчас по-казацкому были гладко обрезанными под горшок. Голубые глаза смотрели нагло и весело. Губы его узкого, высокого лица твердо и весело усмехались, в крупных зубах было что-то волчье или собачье, лицо, как и раньше, было очень бледным, почти как полотно, только пожелтело.

Балясины мертвого дерева ограды крыльца были обвиты глухими морскими узлами старой лозы, стягивавшей змеей мертвое дерево

точеной кругами узора резьбы. Толпы колец и лоз подымались кверху от мертвой петли, падая широко листьями многолетней удавки кругом казненных деревьев. Две ласточки отдыхали в слепленном из соломы и глины гнезде, непрерывно щебеча, вылетая и прилетая, сидя в нем, точно два челнока, вытасенных на морской берег.

Он сел за стол и расставил локти своего красно-желтого зипуна, от которого было больно глазам.

– Ну, – произнес он, отдуваясь, – вот и я, паны мои! – Он задумался... – Ну, о чем балакать, хлопцы?.. Бачу! – сказал он на тонкие голоса женщин, радостно и хлопотливо-пищавшие за дверью, и засмеялся волчьими зубами.

– Да неужели? Да не верю? Да не может быть? – в один голос, точно давая разученную игру, пели, и прыгали, и визжали сестры; косички их прыгали.

– Спичку, спичку? Маня, дай зеркало, свечу, – порой доносился торопливый шепот.

Вышла старшая сестра, босая, в мещанском красном платочке, с томной закованной улыбкой и лукавой кошачьей походкой, в белом широком парусиновом платье из холстины, немного тучная, чуть тяжелая, с красивым, по-русски правильным на расстоянии, лицом. Только постоянная игра в ее глазах голубо-серых и любовных. –

– Эге! Якая ведьма вышла, – важно произнес он вместо приветия.

Она села близко против него.

– О чем ты думаешь? – спросила она.

Губы ее дрожали чуть-чуть заметной коварной дрожью, говорившей о внутреннем смехе; так кошка, положив лапу на птичку, вся дрожит и бьет хвостом.

– О чем думаю! Да никаких думушек нет. Моя дума вот: я таким уродился, что хочу все уважать, все, что есть кругом меня. Ну, вот, свинья идет. Увижу свинью и уважаю ее; толста, здорова, добилась своего, идет, песенки распевает. В лес иду, в поле, потому что уважаю его за деревья, за траву; лезу в воду, потому что уважаю реку. Да. Так – так! Я все уважаю. И хочу, чтобы и меня уважали. Да! А ну-ка, хлопцы, як живете – оно, может, не очень? Бачу, всех голубков коршун на зиму поклевал. А ну-ка! Ничего, добрая детина растет, добрая. А подковы гнешь? А штанов еще нет? Прямо тулуп на голое пузо? Бачу – не очень, а ничего, добре!

«Хлопец» широко распахнул голое пузо.

– А бачите что – у меня умерла невеста. – Он строго потупил глаза, точно во время молитвы, и сделался мрачным.

– Какая? Деревянная или оловянная? – невинно спросил хлопец. – Из пряника?

– Да не! Ну что голову морочить, вот приехал к вам, дал 200 верст крюку, а они морочат голову. Совсем заморочили. Невеста и есть невеста.

Вдруг вбежала вторая сестра. Живые черные умные угли-глаза, множество струй недлинных черных волос, рассыпанных по плечам (я видел также эти волосы медно-золотыми – окись водорода), синяя кацавейка, тело оголялось через темно-синюю парусину. Живопись, менявшаяся, как обеды в хороших столовых, покрывала это полное жизни лицо, изменчивые губы. Она подскакивала и хлопала в ладоши, обнимая и целуя.

– Петя, дусенок! Какая дусочка! Боже мой, какая душечка! Как хорошо, что приехал!

Восклицанья взлетали кверху, как птички во время тока.

– Ой, и весело мне, як соловью в лапах у кошки! – вздохнул он тоскливо, кусая, душа и проглатывая самодовольный смех.

– Ну, скажи, Петро, зачем приехал?

– Да что! Хочется увидеть весь свет, показать себя другим перед смертью.

– Ах, уж умирать собираешься! Так, значит, к невесте? Да? А муки с собой берешь для невесты? Она проголодалась.

– Який бабский вечер: все бабы и бабы и лишь один пышный красивый мужчина, девчоночки мои.

– Ты, дружок, начинаешь заговариваться.

– Ох, и извели меня. Совсем свели с ума. Нет, прочь с глаз, окаянные прелестницы!

– Какой красавец, какая душка! – взвизгнули две сестры.

– Идем в сад, дусенька, идем, у нас цветы есть, сама сажала.

– Не хочу, не хочу, да и все! Вот так сяду и буду сидеть до второго потопа да люльку курить. А ну-ка, хлопцы, дайте огня?

Хлопцев было трое, младший – богатырь телом и ребенок сердцем.

Большой, старый – глиняный, казалось, – череп, похожий сразу и на бабочку и на кувшин, с каким-то усталым, изнемогшим выражением и прямо к *небу* поднятыми глазами, где застыли мольбы и просьбы, неизвестно к кому обращенные, и старушечьими зубами желудевого цвета, лежал сбоку на столе, указывая, что живопись здесь процветала; здесь был приют живописи.

И вдруг, переведу глаза на старшую сестру с ее роскошными, темно-глинистыми, падавшими кругом стана волосами, стало ясно, что она сегодня Магдалина с черепом в лесной пещере и что какая-то нить связывает их. Во всяком случае, таково было задание сегодняшней очередной постановки. Белое парусиновое платье, темные роскошные волосы, с дикой негой и простотой падавшие волнисто вниз, гладкой волной на грудь, и бесконечно-нежные, стыдливо-голубые глаза, любовно устремленные на гостя, любовно сложенные губы молодой женщины сочно-красного цвета.

Знаете ли, что значит спичка в глухой заброшенной усадьбе в плодовом саду? Это бог и царь сельских вечеров. Тысячи лиц, сменяя веснами друг друга, со страниц книг переходили на суточный постой на лицо одной из сестер. Сестры, как трудолюбивые пчелы, работают и помогают друг другу. Звонкий хохот, прыскающий смех, убегающие ноги, чтоб спастись от смеха, порой прерывают их труд. Тысячи разнообразных милых глазок, как цветы, как однодневные бабочки, появляются и исчезают на лице. Лицо делается лугом лиц, где на почве одни цветы сменяют другие и одни души – другие. Сколько сумасшествий от однообразия сельской жизни спасены тобой, закопченная спичка! Как место в поезде занимается то одним, то другим человеком, так живая человеческая голова становится гостиницей путешествующих лиц.

Тихий самодовольный хохот собравшихся был прерван голосом старшей сестры:

– А ну-ка, иди-ка сюда! Да иди, не кривляйся, родимый, а ну, наклони сюда головушку. Крепче! Не кобенься! Положи сюда! Вот так!

Она положила голову на колени и, придерживая ее одной рукою, долго, дрожа красными торжествующими губами, ласкала и гладила ее другой рукою, как ласкают и успокаивают на коленях ленивую

жирную кошку. Потом вдруг диким движением хищной птицы, вдруг проснувшейся ночью совы, схватила череп и положила ему на голову.

– Хо-хо-хо! – захохотал гость. – Хо-хо-хо! – повторил он, схватываясь за живот, вскочил с места и, наклонив голову и засунув ее в высокий воротник красно-желтого радужного жупана, в дикой пляске, сделавшись огромно высоким, – громадными шагами понесся по крыльцу, выкидывая дикие коленца. Это было страшно. Мне показалось – сама Смерть, темнея громадными глазами, носится по крыльцу и делает слепые прыжки, и, казалось, удивленная тем, что с ней происходит, делала громадные шаги, становясь похожей на летучую мышь днем. Он грузно опустился на скамью.

– Хо-хо-о! Ох, уморили детинушку!

Серебряная шашка лежала с ним рядом на столе; на прекрасном боевом железе была вырезана золотая надпись неведомого летчика и его имя. Серебряная полоса, кто был твой первый господин и как он умер? И купаясь в облаках, падая в воздушные ямы, скользя по серебряным проходам среди облаков, откуда в самом конце облачной глубли, слепой норы – каплями прекрасного голубого огня брызгало небо, о ком на далекой земле ты думал тогда, летая крылатой птицей? И были у нее черные глаза, пара черных цветов на лице, или голубые в шелковых божественных ресницах, светоносным огнем, полным неги, горели они изнутри и любовно и с гордостью смотрели на тебя – победителя небесной синевы, и голубое девичье пламя, ясным светом открыв весеннее окно, горело у ней в глазах.

– Полк подарил, – сказал гость и тронул шашку. – Сам зарубил гада! – похвалился он после. – Да, были дела.

Трое хлопцев присоседились к оружию, отколовшись от старших. Правда, не во всякую дверь мог бы пройти младший.

– Вот поеду на Карпаты – там галичане, забуду в чистом воздухе гадкий порошок кацапов – ой и дурной же, в Москве все извозчики, клюя носом по вечерам, закладывают им ноздри и одобряют и возносятся на небо, забыв про овес и конный двор. «От него душа веселится и уходит небо». А там ведьмочки-панночки. Ну, найду добрую дивчину, вот як ты али ты, голубую снегуру с крупными глазами, и путцу корни в землю. Пора, довольно перекаати-поля. И время. Довольно. Побачил всего.

Старшая сестра положила на темный шелк своих волос темный умный черен. Две головы за гранью времени в каком-то зеркале отражены стояли – одна над другой.

– Ну теперь, Барышня Смерть, здравствуйте!

Она встала босая с распущенными волосами и двойной страшной головой, золотисто-голубые в черную точку глаза блестели, окруженные роскошным светом. Белое платье было торжественно, золотые роскошные волосы странно зажигались тысячами огней. Невидимый свет окружил ее стройное, немного тучное тело. Темный умный череп смотрел торжественно большими глазами. Дыхание тайны носилось в воздухе, трепеща крыльями над семью людьми.

– А впрочем, невеста не умерла! – произнес гость, закуривая трубку и переменяя положение ног.

– Голубчик! Жива?

– Жива и вышла замуж.

Темный череп стоял, как на жертвеннике, на темных, одного цвета с ним, распущенных волосах красавицы. Она беззвучно улыбалась, поджав губы, готовые прыснуть от смеха.

Если тайна живописи возможна на холсте, досках, извести и других мертвых вещах, – она возможна, разумеется, и на живых лицах; и были сейчас божественны ее брови над синими глазами, вечно изменчивыми, как небо в оттенках, в вечной дрожи погоды, роскошно алым темным цветком пышных уст.

– Бычка! – подскочил один из братьев и, взяв окурок, роскошно и шумно вдывая воздух, наслаждаясь, затынулся.

– Что, не бачили меня видеть? О чем я? Да... Ну вот, вроде есаула я был в конном отряде. Петлюровцев колотил. Все у меня были: и китайцы, старообрядцы, спартаковцы, венгры. Хорошие, боевые ребята были. Врываемся в город, песни играют, кто во что одет: в черные бурки, сермяги, алые жупаны – прями сброд, но у всех на шляпе червонные ленты вьются. Лихие люди. Старообрядцы – молодцы ребята!

– Да неужели? И ты не врешь? – захохотала старшая сестра. – Так ты настоящий воин, богатырь на коне.

Кошачьи глаза опять смеялись, и щеки ее прыгали.

– Едем, свищем, а червонные ленты на соломенных шляпах, либо по плечам, червоннеют, як невиданные птицы крутятся, скачут в поле –

дикий вид, а молодецкий. Так в кумачах едем. Как песни грянем – стон стоит. Ну, я без малейшей дрожи гадов на тот свет шлю. Вы что думаете – шутка? Бой! сердце колотится – у как! Як птичка выпрыгнуть хочет. Як дрова, сплеча рубишь, засекаешь гадов, а после ходишь сам пьяный, весь шатаешься, пьянеешь боем, стоишь как столб, голова кружится, ничего в это время не помнишь.

– Ничетошеньки? Неужели?

– Гордо так ходишь, озираешься. Балакают, бывают пьяные богом, ну а мы так пьяные боем. Конница налетает всюю, спасаясь от главного удара пехоты, углом идет бой. Удар боя направлен в одну сторону. На иноходце летишь, жупан кровью, кажется, горит, в руке шашка, пальба по врагу, пыль, о-о, а-а-а! – рев стоит, и хлопцы с красным и лентами в пыли несутся. Режут, бьют все, что по дороге. У, страшно говорить! Эх, милое дело! Да, я уже не тот, много видел, гадам мстил. Честно скажу: не жалел.

– Да ну же? Да ты истинный русский воин! Сирот опора! Он сидел грустный, опустившийся, развалился.

– Ого-го, милейший! Наверное, сидел в обозе или в тылу сеном торговал, а сюда приехал и доказывает и нос выше держит, знаем! – загорячились мальчики, споря о чем-то и доказывая.

– Ну, не верьте, если не хотите, ну, не хотите – не верьте. Знал сербов – удивительно чистые души, и все черноокие. Ну и гуцулы хороши, с павлиньим пером на соломенной шляпе, дерутся до последнего.

Изучавшие со всех сторон шашку хлопцы вдруг радостно захохотали.

– Ну вот... Что вы хлопцы? О чем гремите?

– Хо-хо-хо! Вот так шашка! Ну и шашка! Даже кровь на ней есть... И такая чистенькая, молоденькая, точно барышня, – новенькая кровь! Он ходит и головы срубает, а потом присядет к окну, сгорбится, как кузнечик, и малиновой краской шашку выводит. И кровь в лавке покупает или дарят возлюбленные.

– А что, разве я вру? Докажи, что я вру?

– Кровь ржавеет, а здесь новенькие красные пятна, еще свежие.

– Какая дуська, какая дуська! Шашку раскрашивает! – торопливой скороговоркой заговорили сестры.

– Вот не думали! Ты подумай только: шашку раскрашивать! Это надо! Дай я обниму тебя. – Она встала и, тучная, толстая, но страстная – протянула к нему руки старой многолюбицы.

– Ну нет, спасибо.

– Раз, только раз, ну, дусенька, раз!

– Поцелуй на расстоянии – тогда согласен. – Он тихо смеялся и закрывался руками, прятался под стол от по-прежнему протянутых рук.

– Ну, дуся, – разок, только разок!

– Да нет же, – на расстоянии, ради бога! – прятался он.

– Ну, как хочешь, ну, не хочешь, не надо. А все же дуся! Дуся и дуся! – Она вынула иголку и нитку.

– А расстрел так: подходишь и – бац! Прямо в лоб стреляешь – валишь! Оно скверно бывает, когда выстрелишь в лоб, а людина все-таки как столбец стоит, ни с места, и только кровью глаза запачканы. Что ж! Выстрелишь второй раз по кровавому лбу.

– Какой врун! Какой лгун! Боже, какой лгун! Покажи свои глаза окаянные, – разгорячились сестры, – свои томные, голубые очи – мужчины, великолепного красавца и убийцы!

– Хо-хо-хо! Вот так шашка! Это он подводит себе совесть, подведенная ты душа! Вояка ты, вояка! Там была дивка; я замахнулся – она как завизжит! Смотрю – красная кровь!.. Я думал взаправду кровь, даже испугался сам, смотрю-смотрю, а там на железе красная краска, еще пальцем растерта и отпечаток двух пальцев... Вот миляга! Сидел у окна сторбившись, трудился, наводил.

– Хо-хо-хо! Миляга – намазал шашку и всем рассказывает, что это кровь, хочет быть страшнее!

Третья сестра. Кузнечик! Обожаемый, тебя обажаю! Красить шашку, ну подумайте только!

Она была восторженным существом.

Вторая. Дружок, я тебя не узнаю, еще сегодня храбрый воин, и вдруг – паяц!

Хлопец. Тоже – художник на шашке! Знаем вашего брата: продувная братия.

– А что? Я учился живописи не закрашивать же мнегубы? Я ведь не женщина!

– Они у вас бледные, как земля, а теперь горят как огонь.

– Ну, а мы целуемся шашками. Цокаемся. Ловкие, сердитые поцелуи на морозе. Я не скрываю, что это краска, а не кровь!

– Дружок, а про расстрелы – может быть, тоже живопись на лезвии молчания? – Она наклонилась к нему и, обняв его голову руками, захохотала. – Так вот ты кто? Трудится, как художник, на лезвии шашки головки золотоволосые выводит. Ах, ты, миляга, миляга! Сердечная душа.

– Воображаете ночную темноту, и два всадника целуются шашками?.. Ночь молчит. Какая дуся! Какая дуся! Кругом трава выше человека...

– Не верите, как хотите! Это в порядке вещей: вы, женщины, красите себе губы, а я свою шашку, что тут неестественного? Ну, довольно!

Он туго затянул голову, платком и надел череп, поддерживая рукой. Его дикие скачки слепого во все стороны разогнали всех и заставили жаться в угол. Страшные жмурки! Высокая дикая тень, размахивая руками и с бледным черепом, металась по крыльцу и вдруг разразилась неожиданным крепким гопаком, так что тряслись половицы. Он сбросил жупан на землю и был страшен, в голубой шелковой рубашке, дико расставляя ноги, размахивая костлявыми руками.

Этим воспользовались братья и, будучи дюжими ребятами, схватив за ноги и за руки, немедля вынесли воина в сад. Волны мужского хохота доносились оттуда. «Охо-хо-хо!» – задыхался один. «Ох-ох-ох!» – задыхался от смеха другой. Все тонули в сумерках. «Кузнечик, кузнечик, – неслось оттуда, – настоящий кузнечик!»

Они принесли мертвого кузнечика за ноги и за руки на крыльцо.

– Ну, будет! Довольно. Будет. Уеду в Галицию! Там нявки есть: спереди белогрудые женщины, как простые смертные, а сзади кожи нет, и все потроха видны, красное мясо. Точно часы без крышки. Страшная русалка, и тоже глаза подведены. Ух, ее лешие не любят. Ловят – и прямо в огонь.

<Третья сестра.> Ну, кушайте, вот лапша, молоко и все. Знаете, когда суровый воин ест, он удивительно походит на кузнечика, в особенности рот – твердый, тонкий, узкий, и жадные большие глаза. Ну, совсем, совсем живой кузнечик, так взяла бы – и на булавку. Хо-хо-хо! – на булавку.

– Кузнечик так кузнечик! А вареники добрые. Как надо вареники! С вишней, молодуха? У художников глаза зоркие, как у голодных. Добрые вареники, белые, жирные, как молодые поросята! Я уж десяток послал себе в рот.

– Вот бы взять такого поросенка и шлепнуть по губам, чтоб замолчал, а то трещит, не зная что!

– Какой невежда, какой наглец, уходи из-за стола! – вспылила сестра.

– Тпру, голубушка, стой, уходи сама, если <не> по душе.

– Нет, подумайте, какой невежда: гостя и так называть. Как ты смеешь! Мальчишка, нахал, щенок, уходи из-за стола!

– Вот и гости! На войне – едешь грозой гадов, шашка над головой, полполка под твоим началом, <иноходец> почетный, белый конь, а в гостях хлопцы за ноги выносят в сад и голодным кузнечиком зовут. Где же все величие? Бедная моя слава!.. А дюжие хлопцы! Приезжайте, возьму к себе.

– Ну что, как? – загадочно и коварно спросила старшая сестра.

Первая. Душка! Милый!

Вторая. Божественный, обожаемый!

Первая. Как я его люблю!

Вторая. Как я его люблю!

– Идем чай пить!

– Ну, братья и сестрицы, что вам рассказать? Вы меня варениками, а я рассказами. Товарообмен. Ну, вот, взяли город. Много их там. А ну-ка, песню к горячему самовару.

Грянули песню.

– Город взят. Начинается расстрел гадов. Я пощады не давал.

– Ого-го! Так, верно, и ходит, и отрубает головы по дороге.

– А что, вы думаете, сробею! Мало вы знаете меня, судари мои!

Откуда у меня серебряное оружие?

Старший брат. Докажи! Он по речке, наверно, ходил – как увидит лягушку, так голову и отрубит – вот и говорит, что рубил гадов. Ужа увидит, тоже загубит малиновой шашкой. Таких гадов зарубано, что только речка плакала. Ходил и думал, что это люди.

Старшая сестра. Так как же? Таких гадов загубил или нет? Отвечайте же! Боже, какой глупый!

– Ну, опять попал в бабью неволю. Начинается бабья власть.

Третья сестра. Ты – истинный друг!

– Едешь на иноходце, кругом хлопцы спивают: «Ох, яблочко малосольное, ох вы, девушки малохольные!» – да так грустно, что за сердце возьмет. Ленты развеваются. Кругом дивчины, да еще якие, черноокие, живая сказка в плахте, и пищат: «Який червовый жупан. Да какой красивенький! Ой, мамонька, якой красивый!» Имел успех. Не пользовались. Едешь себе и свищешь.

– «Он, я страдала... – загремели из сада голоса заглядевшихся девушек с лопатами па плечах. – Уж и застрадала! Увидала и застрадала!»

– Есть у меня черкеска, оружие. Для воина все есть.

– Ну, так как же, правда, что ты 90 гадов убил?

– Девяносто не девяносто, а за тридцать ручаюсь.

– И не жалко?

– А меня жалели? Это было в Чернигове: мы сидели в остроге и ждали смерти. Брат налетел с четниками, ворвался в город на броневике, разбил острог, взял меня. Спаслись... Все видал. Сам будешь такой. Душа подрастет. Вы ребята, а души младенцев! Чи я баба, чтобы жалеть? Вы, бабы, льете слезы, мы льем кровь – каждому свое. Люди душат друг друга за горло – кто скорее? Не ты – так тебя. Ну вот. Одежды мало, ее нужно беречь, одежду снимаем, оставляем в белье. Приходят в опилках, сене, где кого поймали: в стогу, копнах, в подполье. Раз было – привели пять заложников, поставили босыми, в белье, выстрелили, один убежал. Считаем – все лежат, – одного нет. В лес ведут красные следы от раны. Ну, раны – все равно подохнет в лесу. Пес с ним! Туда ему и дорога. Через двое суток приходит в избу: течет кровь, в белье, босой, хохочет и говорит: «Я таки убежал. Расстреляйте меня! Только сейчас», Ну, я не неволю.

– Ну, так как же, отвечай: было дело или нет? А то выпорю...

Как, П.?! Неужели тот самый, который по Москве ходил в черной папахе, белый, как смерть, и нюхал по ночам в чайных кокаин? Три раза вешался, плотал яд, бесприютный, бездомный, бродяга, похожий на ангела с волчьими зубами. Некогда московские художницы любили «писать его тело». А теперь – воин в жупане цвета крови – молодец молодцом, с серебряной шашкой и черкеской. Его все знали и, пожалуй, боялись – опасный человек. Его зовут «кузнечик» – за

большие, голодные, выпуклые глаза, живую речь, вдавленный нос. В свитке, перешитой из бурки, черной папахе <...> он был сомнительным человеком большого города и с законом не был в ладу.

Некогда подражал пророкам (вот мысль – занести пророка в большой город с метелями, – что будет делать?).

Он худой, белый, как свеча, питался только черным хлебом и золотистым медом, да английский табак, большой чудака, в ссоре с обществом, искавший правды. Женщины-художницы писали много раз его голого, в те годы, когда он был красив.

Хромой друг, который звался чертом, три раза снимал его с петли. Это было вроде небесного закона: П. удавливается, Ч. снимает.

Известно, что он трижды обежал золоченый, с тучами каменных духов храм Спасителя, прыгая громадными скачками по ступеням, преследуемый городским за то, что выдрал из Румянцевского музея редкие оттиски живописи.

Любил таинственное и страшное. Врал безбожно и по всякому поводу.

1921

«Про некоторые области...»

Про некоторые области земного шара существует выражение: «Там не ступала нога белого человека». Еще недавно таким был весь черный материк.

Про время также можно сказать: там не ступала нога мыслящего существа.

Если не каждый самый мощный поезд сдвинет с места все написанное человечеством о пространстве, то все написанное о времени легко подымет каждый голубь в письме, спрятанном под крылом. Это всего несколько вскользь брошенных, иногда очень метких, замечаний. Я не говорю о чисто словесных трудах по данному вопросу, которые не ведут к цели и служат плохим топливом паровозу знаний.

Таким образом, случилось то, что юность науки о времени отделена от первых дней земной жизни науки о пространстве приблизительно семью «годами богов».

Семью триста-шестидесяти-пятилетиями, которыми удобно измерять большие времена, большие полотна веков.

Казалось, наука о времени должна идти тем же путем, которым шла наука о пространстве.

Избегая заранее готовых мыслей открыть свой разум, как слух, к голосу опыта, лежащего перед ним. Если в ушах не будет внутреннего звона и навязчивых голосов бреда, голос опыта будет, конечно, услышан.

Задача – увидеть чистыми глазами весь опыт в кругозоре человеческого разума.

Мы знаем, что в основу науки о пространстве лег опыт плотников и землемеров, искавших равные площади полей при отводе участков древнему землевладельцу.

Этим людям знаний приходилось уравнивать прямоугольники и треугольники полей с круговыми и решать написанную пером гор и долин задачу равных площадей для полей неравных очертаний. Наоборот, точные законы времени смогут решить задачу равенства во власти справедливого распределения земельных участков во времени,

задачу разверстки учений о власти и размежевания поколений. Так возводится правда во времени.

Чистые законы времени учат, что все относительно. Они делают нравы менее кровожадными, странно облагораживают их.

Они помогают выбирать сотрудников и учеников, позволяют проводить прямую кратчайшего пути к той или другой точке будущего, а не идти сложной извилистой дорогой обманчивой погони за настоящим.

В дни расцвета каждому народу свойственно понимать свое будущее как касательную к точке его настоящего.

Каждому народу свойственно жестоко разочаровываться в добротности этих первобытных способов заглядывать в свое будущее.

Они дают справедливые границы каждому движению; например, устанавливая межи между поколениями, в то же время они позволяют заглянуть в будущее, потому что законы времени не могут изменяться от положения точки, в которой находится изучающий человек, исследующий время. Открытая перед наукой о времени дорога – изучение количественных законов нового открытого мира.

Постройка уравнений и изучение их.

При первом же взгляде на найденные уравнения величин времени выступает несколько своеобразных черт, присущих только миру времени и заслуживающих быть перечисленными.

1921–1922

Перед войной*

– Через два месяца я буду убит! На прусский лоб! Ура! Урра! – крикнул прапорщик, размахивая шашкой.

– Ура, – повторяли остальные, подымаясь с мест и вежливо и участливо смотря ему в глаза.

– Смерть наверняка! Урра моей смерти! – лихо крикнул он, волнуясь и, казалось, захлебываясь от счастья. Винная заря малиновой тьмью выступила ему на щеки, ему, мертвому без проигрыша через два месяца! Он стоял и говорил. Голая шашка купалась вверху, рассекая воздух, разрезая сумрак лезвием, – гражданка грядущей войны. Она бесстыдно плясала, скинув последние шелка, и, повторенная в глазах, отражалась в зеркалах подвала, переполненного военной молодежью, на серебристых плоскостях, делавших стены и потолок подвала; весь подвал походил на зеркальный ящик. «Боже, царя храни», – пели медные горла дуд, вдруг вспомнившие о себе.

Вышли на мороз. Сели кататься, носиться по Москве, далеко за снежными заставами. Вино в руках. Люди в свежих могилах цветов и зверей, с ног до головы одетые в могилы: разве не овца, белокурая и милая, грела дыханием смерти шею поручика, – разве не братская могила льнов Псковской земли белым полотном рубашки выступала на руке, державшей вино? Точно братское кладбище, засыпанное снегом? Разве не темный зверь, с другого конца земного шара, из темных лесов Америки, прильнув к черепу художника, бросил живую дышащую тень и на лоб, и на суровую морщину, и на горящие глаза художника? Он, раньше скакавший в листве за сонными птицами, теперь согревал человека черной могилой, теплой ночью Мерцающих пушистых волос, черным сиянием густых лучей и, воин после смерти, защищал человека от копий мороза. Жизнь в хижине из чужой смерти, эти люди, в шкурах свежевскопанных могил, готовились сделать прыжок в смерть, чтобы где-то там стать, вернув долг, почвой для растений, дровами для травоядных печей.

– Долг будет выполнен, – все повторяли это слово. Какая корова, черно-пегая или белая, затопит свое вымя, висящее до земли, душой этого поручика? Какое поле – может быть, голубых незабудок, может

быть, золотых лютиков, станет второй душой поручика? – этой горсти земли, на шепот земли, вдруг услышанный ухом: «Сын! вернись! мне необходимо тебе что-то сказать!»

Ехали, хмуро и весело молчали. Поручик иногда вставал, и голая шашка на ходу описывала в воздухе какие-то знаки, вроде восьмерки.

Самокат опоясал Москву, раздувая на ходу трубку сложной пыли, испуская стоны раненого зверя. Несколько приговоренных к смерти наступавшей войной сидели за стеклянной темницей внимательными божествами бега. Чудовище летело, подняв над собой какую-то стеклянную Ярославну, лежавшую в глубоком обмороке, подымая черными могучими руками ее стеклянный стан, как сумасшедший арап, не найденный в песнях Пушкина, умыкающий свою добычу.

– Хрро! – дико хрюкнуло чудовище, прокалывая тьму холодными белыми клыками. Встречные отвечали ему стоном дикого гуся и исчезали в морозной неге. Я гадал о войне. Что она для людей? Большое бо-бо? В час ночи, на пути домой, застава около Ворот Славы была снесена со столбов запыхавшимся чудовищем. Мы похлопывали по шее дрожавшее и умиравшее животное, упавшее на колени. Городовые, сделавшие засаду, переписывали наши имена, не совсем довольные тем, что все мы стоим на ногах. Ничуть не удивляясь тому, что мороженое бревно, поперек наших горл, не размозжило наших черепов, мы сошли на снег со сломанного чудовища, полного предсмертной дрожи, издыхавшего рядом; оно было ранено и разбило свои глаза, очаровательные в своем блеске, протыкая вилами черный стог ночей и бросая его через голову.

Теперь я знал, какую будет война: мы вылетим из своих мягких сидений в бешеном беге, сойдем на землю, но застава будет сорвана! Мы видели эту заговорщицу позорно лежащей в снежной пыли, мы щупали наши головы и видели, что они прочно сидят на плечах.

Это маленькое письмо из будущего, незаметно для окружающих ловко врученное случаем, вдруг показало мне войну в себе. Еще не дошедший до нас великий чертеж громадного здания войны, вот он, точно два-три слова, намечающие смысл большого труда.

Я умею угол великих событий, отделенных временем в несколько лет, видеть в маленьких чертежах сегодняшнего дня. В этом крушении были черты, освещавшие будущее.

Да, мы были около вершины угла, и маленькая прямая нашего крушения сменялась великанской прямой войны, пересекавшей стороны чертежа под тем же углом, как и прообраз. Да, застава будет сломана! хотя мы и сойдем на землю.

Я добрыми глазами смотрел на друга, когда он читал: «Я тебя, пропахшего, раскрою отсюда до Аляски», – и его могучий голос страшными объятиями крушил детские хребты понятий, еще не хотевших умирать.

На лицах понятых было написано «паша хата с краю». Чугунные тела Ворот Славы, держа трубы, смотрели на нас... Война, нарастая в звуке своей мощи, точно гудок встречного поезда, метала тузы лучших полков, распечатывала все новые и новые колоды людей. Спасаясь от головной боли, проигравшийся игрок облаком замотал голову. Этот кумачово-красный платок придавал ему восточный вид.

Звук войны достиг той высоты, грани слышимого, когда ощущение звука переходит в ощущение боли, и часто мощно было видеть среди бросившихся прочь, шарахнувшихся улиц остановившийся 6-й или 13-й, полный раненых.

«Все умрем», – слышал я глухой суд из рядов красавца-полка, деловито уходившего на запад. В страшную печь бросались все новые и новые возрасты. Изредка из черных освещенных зданий доносились шумы грустной и могучей молитвы: это пели тысячи грудей уходящих... «Но ведь с той стороны ему тоже молятся», – подумал я. И вдруг передо мной мелькнул образ маленького жалкого китайца, которого сразу несколько рук дергают за косу, – что ему делать в этой толпе? Мне стало, жалко того, кому молились. Кол из будущего надвигался на улицу, полную запаха вчерашних слов и понятий. Лишь верхние чердаки спаслись от потопа других времен. Подвалы были затоплены.

Я шептал проклятия холодным треугольникам и дугам, пируя над людьми, подымавшим ковши с пенной брагой, обмакивавшим в мед седые усы князей жизни, и видел, как кулак калек подымается к их теням с тою же глухой угрозой. Я отчетливо видел холодное «татарское иго» полчищ треугольников, вихрей круга, наступавшее на нас, людей, как вечер на день, теньвыми войсками, – в свой срок, на 12 часов войны; я настойчиво помнил, как чечевица, наполнявшая

котелки пехоты, вдруг стала чечевицей лучей мести, собрала в одну точку и зажгла, как хворост.

Я помнил, как по рядам войск пробежало сначала крылатое слово: «тут-то оно и сказалось», произнесенное весело, с лукавым видом взаимного понимания, вдали от начальства, бородатым дядьком, а потом: «бабушка надвое сказала», угрюмо произнесенное суровым боевиком, как отблеск надвигающейся кровавой зари, две трещины, пересекающие мир того дня.

«И не к „войне ли до конца“ относилось это загадочно-суровое „бабушка надвое сказала“?» – невольно спрашивал я себя. Может быть, число, может быть, треугольник был пастухом этих двигавшихся на запад волн. Не он ли расставил громадные прутья железной мышеловки?

Всей силой своей гордости и своего самоуважения я опускал руку на стрелку судьбы, чтобы из положения внутри мышеловки перейти в положение ее плотника. «В игре в дураки кто кого оставит в дураках?» – спрашивал я себя.

Я помнил, как шепот «царь проедет» собирал толпы на углу Тверской. Скороход огромного роста, на аршин выше среднего уровня платков и котелков, передвигался в ней, городские заботливо наводили порядок.

Вдруг коршун, зорко, как сыщик, выискивавший кого-то в толпе, два раза пронесся над ней и, точно не найдя, что ему надо, отлетел прочь, скрытый крышами. И только когда промчалась запряженная черной парой коляска царя и мелькнуло его лицо, коршун неожиданно вылетел снова и, опустившись над самой головой царя – точно выполнив поручение, – быстро поднялся и исчез. Точно опущенный палец вдруг указал на кого-то, а голос произнес: «Вот он». «Коршун», – разочарованно повторяли многие, и праздник встречи был испорчен, сорван внезапным приходом нового действующего лица.

20 января 1922

Ветка вербы*

День вербы – ручки писателя

Я пишу сейчас засохшей веткой вербы, на которой комочки серебряного пуха уселись пушистыми зайчиками, вышедшими посмотреть на весну, окружив ее черный сухой прут со всех сторон.

Прошлая статья писалась суровой иглой лесного дикобраза, уже потерянной.

После нее была ручка из колючек железноводского терновника. Что это значило?

Эта статья пишется вербой другим взором в бесконечное, в «без имени», другим способом видеть е<го>.

Я не знаю, какое созвучие дают все вместе эти три ручки писателя.

За это время пронеслась река событий.

Про родину дикобраза я узнал страшные вести.

Я узнал, что Кучук-хан, разбитый наголову своим противником, бежал в горы, чтобы увидеть снежную смерть, и там, вместе с остатками войск, замерз во время снеговой бури на вершинах Ирана.

Воины пошли в горы и у замороженного трупа отрубили жречески прекрасную голову и, воткнув на копье, понесли в долины и получили от шаха обещанные 10 000 туманов награды.

Когда судьбы выходят из береговых размеров, как часто заключительный знак ставят силы природы!

Он, спаливший дворец, чтобы поджечь своего противника во сне, хотевший для него смерти в огне, огненной казни, сам погибает от крайнего отсутствия огня, от дыхания снежной бури. Снежная точка закончила эту жизнь. В его голове стояла изба его родины – из хороших туманов и хороших воинов. Не успев это сделать при жизни, он сделал это после смерти, когда хорошие воины за его голову получили хорошие деньги. Когда я бывал в этой стране в 21 году, я слышал слова: «Пришли русские и принесли с собою мороз и снег».

А Кучук-хан опирался на Индию и юг.

Но самое крупное светило на небе событий, взошедшее за это время, это «вера 4-х измерений» – изваяние из сыра работы Митурича.

30 апреля 1922

Кол из будущего*

Мы и дома

Мы и улицетворцы

Вонзая в человечество иглу обуви, шатаясь от тяжести лат, мы, сидящие на крупе, показываем дорогу туда! и колем усталые бока колесиком на железной обуви, чтобы усталое животное сделало прыжок и вяло взяло, маша от удовольствия хвостом, забор перед собой.

Мы, сидящие в седле, зовем: туда, где стеклянные подсолнечники в железных кустарниках, где города, стройные как невод на морском берегу, стеклянные как чернильница, ведут междуусобную борьбу за солнце и кусок неба, будто они мир растений; «посолонь» ужасно написано в них азбукой согласных из железа и гласных из стекла!

И если люди – соль, но должна ли солонка идти посолонь? Положив тяжелую лапу на современный город и его улицетворцев, восклицая: «Бросьте ваши крысятники» и страшным дыханием изменяя воздух, мы, будетляне, с удовольствием видим, что многое трещит под когтистой рукой. Доски победителей уже брошены, и победители уже пьют степной напиток, молоко кобылиц; тихий стон побежденных.

Мы здесь расскажем о вашем и о нашем городе.

I. Черты якобы красивого города прошлецов (пращурское зодчество).

1. Город сверху: сверху сейчас он напоминает скребницу, щетки. Это ли будет в городе крылатых жителей? В. самом деле, рука времени повернет вверх ось зрения, увлекая за собой и каменное щегольство прямой угол. На город смотрят сбоку, будут – сверху. Крыша станет главное, ось стоячей. Потоки летунов и лицо улицы над собой город станет ревновать своими крышами, а не стенами.

Крыша, как таковая, нежится в синеве, она далека от грязных туч пыли. Она не желает, подобно мостовой, мести себя метлой из легких, дыхательного горла и нежных глаз; не будет выметать пыль

ресницами и смывать со своего тела грязь черную губкой из легкого. Прихорашивайте ваши крыши; уснащайте эти прически узкими булавками. Не на прочных улицах с их грязным желанием иметь человека, как вещь, на своем умывальнике, а на прекрасной и юной крыше будет толпиться люд, носовыми платками приветствуя отплытие облачного чудовища, со словами «до свиданья» и «прощай!» провожая близких.

Как они одевались? Они из черного или белого льна кроили латы, поножи, нагрудники, налокотники, горла, утюжили их и таким образом вечно ходили в латах цвета снега и сажи, холодных, твердых, но размокающих от первого дождя, доспехах из льна. Вместо пера у иных над головой курилась смола. В глазах у иных взаимное смелое, утонченное презрение. Поэтому мостовая прошла выше окон и водосточных труб. Люд столпился на крыше, а земля осталась для груза; город превратился в сеть нескольких пересекающихся мостов, положивших населенные своды на жилые башни – опоры; жилые здания служили мосту быками и стенами площадей-колодцев. Забыв ходить пешком или на собратях, вооруженных копытами, толпа научилась летать над городом, спуская вниз дождь взоров, падающих сверху; над городом будет стоять облако оценки труда каменщиков, грозящее стать грозой и смерчем для плохих кровель. Люд на крыше вырвет у мотыги ясную похвалу крыше, и улице, проходящей над зданиями. Итак, его черты: улица над городом, и глаз толпы над улицей!

2. Город сбоку. «Будто красивые» современные города на некотором расстоянии обращаются в ящик с мусором. Они забыли правило чередования в старых постройках (греки, Ислам) сгущенной природы камни с разреженной природой – воздухом (собор Воронихина), вещества с пустотой; то же отношение ударного и не ударного места – сущность стиха. У улиц нет биения. Слитные улицы так же трудно смотрятся, как трудно читаются слова без промежутков и выговариваются слова без ударений. Нужна разорванная улица с ударением в высоте зданий, этим колебанием в дыхании камня. Эти дома строятся по известному правилу для пушек: взять дыру и облить чугуном. И точно, берется чертеж и заполняется камнем. Но в чертеже имеет существование и весомость – черта, отсутствующая в здании, и наоборот: весомость стен здания отсутствует в чертеже, кажется в нем

пустотой; бытие чертежа приходится на небытие здания, и наоборот. Чертежники берут чертеж и заполняют его камнем, т. е. основное соотношение камня и пустоты умножают (в течении веков не замечая) на отрицательную единицу, отчего у самых безобразных зданий самые изящные чертежи и Мусоргский чертежа делается ящиком с мусором в здании. Этому должен быть положен конец! Чертеж годится только для проволочных домов, так как заменять черту пустотой, а пустоту камнем – то же, что переводить папу римского, знакомым римской мамы. Близкая поверхность похищена неразберихой окон, подробностями водосточных труб, мелкими глупостями узоров, дребеденью, отчего большинство зданий в лесах лучше законченных. Современный доходный дом (искусство прошлецов) растет из замка; но замки стояли особняком, окруженные воздухом, насытив себя пустынным, походя на громкое междометие! А здесь, сплюсненные общими стенами, отняв друг от друга кругозор, сдавленный в икру улицы, – чем они стали с их прыгающим узором окон, как строчки чтения в поезде! Не так ли умирают цветы, сжатые в неловкой руке, как эти дома крысятники? (потомки замков?)

3. Что украшает город? На пороге его красоты стоят трубы заводов. Три дымящиеся трубы Замоскворечья напоминают подсвечник и три свечи невидимых при дневном свете. А лес труб на северном безжизненном болоте заставляет присутствовать при переходе природы от одного порядка к другому; это нежный, слабый мох леса второго порядка; сам город делается первым опытом растения высшего порядка, еще ученическим. Эти болота – поляна шелкового мха труб. Трубы – это прелесть золотистых волос.

4. Город внутри. Только немногие заметили, что вверить улицы союзу алчности и глупости домовладельцев и дать им право строить дома – значит без вины вести жизнь одиночного заключения; мрачный быт внутри доходных домов очень мало отличается от быта одиночного заключения; это жизнь гребца на дне ладьи, под палубой; он ежемесячно взмахивает веслом, и чудовище алчности темной и чужой воли идет к сомнительным целям.

5. Так же мало замечали, что путешествия лишены полноты удобств и неприятны.

II. Лекарства Города Будрых.

1. Был выдуман ящик из гнутого стекла или походная каюта, снабженная дверью, с кольцами, на колесах, со своим обитателем внутри, она становилась на поезд (особые колеи, площадки с местами) или пароход, и в ней ее житель, не выходя из нее, совершал путешествие. Иногда раздвижной, этот стеклянный шатер был годен для ночлега. Вместе с тем, когда было решено строить не из случайной единицы кирпича, а с помощью населенной человеком клетки, то стали строить дома-остовы, чтобы обитатели сами Заполняли пустые места подвижными стеклянными хижинами, могущими быть перенесенными из одного здания в другое. Таким образом было достигнуто великое завоевание: путешествовал не человек, а его дом на колесиках, или, лучше сказать, будка, привинчиваемая то к площадке поезда, то к пароходу.

Как зимнее дерево ждет листья или хвои, так эти дома-остовы, подымая руки с решеткой пустых мест, свой распятый железный можжевельник, ждут стеклянных жителей, походя на ненагруженное невооруженное судно, то на дерево смерти, на заброшенный город в горах. Возникло право быть собственником такого места в неопределенно каком городе. Каждый город страны, куда прибывал в своем стеклянном ящике владелец, обязан был дать на одном из домов-остовов место для передвижной ящико-комнаты (стекло-хаты). И на цепях с визгом подымался путешественник в оболочке. Ради этого размера шатра во всей стране – одного и того же образца. На стеклянной поверхности чернело число, порядок владельца. Сам он во время подъема что-нибудь читал. Таким образом, возник владелец: 1) не на землю, а лишь на площадку в доме-остове, 2) не в каком-нибудь определенном городе, а вообще в городе страны, одном из вошедших в союз для обмена гражданами. Это было сделано для пользы подвижного населения.

Строились остовы городами; они опирались на союз стекольщиков и железников Урала. Похожий на кости без мышц, чернея пустотой ячеек для вставных стеклянных ящиков, ставших деньгами объема, в каждом городе стоял наполовину заполненный железный остов, ожидавший стеклянных жителей. Нагруженные ими же, плавали палубы и ходили поезда, носились по дорогам площадки. Такие же остовы-гостиницы строились на берегу моря, над озерами, вблизи гор и рек. Иногда в одном владении были две или три клетки.

1) Шатры в домах чередовались с гостиными, столовыми и резварнами. 2) Современные дома-крысят ники строятся союзом глупости и алчности. Если прежние замки-особняки распространяли власть вокруг себя, то замки-сельди, сплюснутые бочонком улиц, устанавливают власть над живущими в нем, внутри его. В неравной борьбе многих обитающих ни одного яркого душегубства, но живущих в мрачной темнице, в заключении в доходном доме, под тяжелой лапой союза алчности и глупости; на помощь многим сначала приходили отдельные союзы, а потом государство. Было признано, что город точка узла лучей общей силы и в известной доле есть достояние всех жителей страны и что за попытку жить в нем гражданин страны не может быть брошен (одним из случайно отнявших у него город) в каменный мешок крысятника и вести там жизнь узника пусть по приговору только быта, а не суда.

Но не все ли равно сурово наказанному, даже если он не подозревает о страшном равенстве своего жилища: суд или быт бросил его, как военного пленника, в темный подвал, отрезанный от всего мира?

Было понято, что постройка жилищ должна быть делом тех, кто их будет населять. Сначала отдельные улицы объединились в товарищества на паях, чтобы строить, чередуя громады с пустотой, общие замкоулицы и заменить грязный ящик, улицы одним прекрасным улочертогом; в основу лег порядок древнего Новгорода. Вот вид большой улицы Тверской. Высокий избоул окружался площадью. Тонкая башня соединялась мостом с соседним замкоулом. Дома-стены стояли рядом, как три книги, стоящие ребром.

Жилая башня двумя висячими мостами соединялась с другой такой же, высокой, тонкой. Еще один дворцоул. Все походило на сад. Дома соединялись мостами, верхними улицами градоула. Так были избегнуты ужасы произвола частного зодчества. Растительный яд стал караться наравне с зодческим мышьяком. За частными лицами осталось право строить дома: 1) вне города, 2) на окраинах его, в деревнях, пустынях, но и то для своего личного пользования. Позднее к улицетворству перешла государственная власть. Это были казенные улочертоги.

Присвоив права улицетворца и очертив кругом своих забот жианиц и жиянство (от жить, словопроизводство по словам: пианство

и пианиц), власть стала старшим каменщиком страны и на развалинах частного зодчества оперлась о щит благодарности умученных в современных крысятниках.

Нашли, что черпать средства из постройки стеклянных жилищ нравственно. Измученные равнодушным ответом: «пущайдохнут, пущайживут», ушли под крыло государства-зодчего.

Запрет на частное зодчество не распространялся на избы, хаты, усадьбы и жилища семей. Война велась с крысятниками. Занятая избоулом, земля оставалась во владении прежних собственников. Житеул: 1) сдавался обществам городов, врачей, путешествий, улиц, приходам; 2) оставался у строителя; 3) продавался на условиях, ограничивающих алчность, право содержания. Это был могучий источник доходов. Градоулы, построенные на берегах моря и в живописных местах, оживили ее высокими стеклянными замками. Итак, основным строителем стало государство; впрочем, оно стало таким в силу превосходства своих средств как самое могучее частное общество.

III. Что строилось? Теперь внимание. Здесь рассказывается про чудовище будетлянского воображения, заменившее современные площади, грязные как душа Измайлова.

а) Дома-мосты; в этих домах и дуги моста и опорные сваи были населены зданиями. Одни стекложелезные соты служили соседям частями моста. Это был мосто-ул. Башни-сваи и полушария дуг.

(Корень ул от слов: улица, улей, улика, улыбка, Ульяна). Мостоулы нередко воздвигались над рекой.

б) Дом-тополь. Состоял из узкой башни, сверху донизу обвитой кольцами из стеклянных кают. Подъем был в башне, у каждой светелки особый выход в башню, напоминавшую высокую колокольню(100–200 саж.). Наверху площадка для верхнего движения. Кольца светелок тесно следовали одно за другим на большую высоту. Стеклянный плащ и темный остов придавали ему вид тополя.

с) Подводные дворцы; для говорилен строились подводные дворцы из стеклянных глыб, среди рыб, с видом на море, и подводным выходом на сушу. Среди морской тишины давались уроки красноречия.

д) Дома-пароходы. На большой высоте искусственный водоем заполнялся водой, и в нем на волнах качался настоящий пароход,

населенный главным образом моряками.

е) Дом-пленка. Состоял из комнатной ткани, в один ряд натянутой между двумя башнями. Размеры 3 X 100 X 100 сажен. Много света! Мало места. Тысяча жителей. Очень удобен для гостиниц, лечебниц, на гребне гор, берегу моря. Просвечивая стеклянными светелками, казался пленкой. Красив ночью, когда казался костром пламени среди черных и угрюмых башен-игл. Строится на бугре холмов. Служит хорошим домом-остовом.

f) Тот же с двойной тканью комнат.

g) Дом-шахматы. Пустые комнаты отсутствовали в шахматном порядке.

и) Дом-качели. Между двумя заводскими трубами привешивалась цепь, а на ней привешивается избушка. Мыслителям, морякам, бюджетлянам.

к) Дом-волос. Состоит из боковой оси и волоса комнат будотлянских, поднимающихся рядом с нею на высоту 100–200 саж. Иногда три волоса выются вдоль железной иглы.

l) Дом-чаша; железный стебель 5 – 200 сажен вышиной подымет на себе стеклянный купол для 4–5 комнат. Особняк для ушедших от земли; на ножке железных брусьев.

m) Дом-трубка. Состоял из двойного комнатного листа, свернутого в трубку, с широким двором внутри, орошенным водопадом.

1) Порядок развернутой книги; состоит из каменных стен, под углом и стеклянных листов, комнатной ткани, веером расположенной внутри этих стен. Это дом-книга. Размеры стены 200–100 саж.

2) Дом-поле, в нем полы служат опорой пустынным покоям, лишенным внутренних стен, где в живописном беспорядке раскинуты стеклянные хижины, шалаши, не достающие потолка, особо запирающиеся вигвамы и чумы; на стенах грубо сколоченные природой олени рога придавали вид каждому ярусу охотничьего становища; в углах домашние купанья. Нередко полы поднимаются один над другим в виде пирамиды

3) Дом на колесах: на длинном маследе одна или несколько кают, гостиная, светская ульская для цыган 20 века.

Начала: 1) Оседлый остов дома, бродячая каюта.

2) Человек ездит по поезду, не выходя из своей комнаты.

3) Право собственности на жилище в неопределенно каком городе.

4) Казна-строитель.

5) Правило построек особняков; гибель улиц; удары замкоулов, междометия башен.

Прогулка; читая изящное стихотворение из 4-х слов гоум, моум, суум, туум и вдумываясь в его смысл, казавшийся прекраснее больших созвучьерубных приборов, я, не выходя из шатра, был донесен поездом через материк к морю, где надеялся увидеть сестру. Я почувствовал скрип и покачивание. Это железная цепь подымала меня вдоль дома-тополя; мелькали клетки стеклянного плаща и лица. Остановка; здесь, в пустой ячейке дома, я оставил свое жилище; зайдя к водопаду и надев стиль одежд дома, я вышел на мостик. Изящный, тонкий, он на высоте 80 сажен соединял два дома-тополя. Я наклонился и вычислял себя, что я должен делать, чтобы исполнить волю его в себе. Вдали, между двух железных игл, стоял дом-пленка. 1000 стеклянных жилищ, соединяемых висячей тележкой с башнями, блестели стеклом. Там жили художники, любуясь двойным видом на море, так как дом иголь-башней выдвинулся к морю. Он был прекрасен по вечерам. Рядом на недосыгаемую высоту вился дом-цветок, с красновато-матовым стеклом купола, кружевом изгороди чашки и стройным железом лестниц ножки. Здесь жили И и Э. Железные иголки дома-пленки и плотно стеклянных сот, озарялись закатом. У угловой башни начинался другой протянутый в поперечном направлении дом. Два дома-волоса вились рядом один около другого. Там дом-шахматы; я задумался. Роща стеклянных тополей сторожила море. Между тем четыре «Чайки № 11» несли по воздуху сеть, в которой сидели купальщики, и положили ее на море. Это был час купанья. Сами они качались на волнах рядом. Я думал про сивок-коурок, ковры-самолеты и думал: сказки, память старца или нет? Иль детское ясновидение? Другими словами, я думал: потоп и гибель Атлантиды была или будет? Скорее я склонен был думать – будет.

Я был на мостике и задумался.

Лебедия будущего

Небокниги

На площадях, около садов, где отдыхали рабочие, или творцы, как они стали себя называть, подымались высокие белые стены, похожие на белые книги, развернутые на черном небе. Здесь толпились толпы народа и здесь творецкая община, тенепечатью на тенекнигах, сообщала последние новости, бросая из блистающего глаза светоча нужные тенеписьмена. Новинки Земного, Шара, дела Соединенных Станов Азии, этого великого союза трудовых общин, стихи, внезапное вдохновение своих членов, научные новинки, извещения родных своих родственников, приказы советов. Некоторые, вдохновленные надписями тенекниг, удалялись на время, записывали свое вдохновение и через полчаса, брошенное световым стеклом, оно, тeneвыми глаголами, показалось на стене. В туманную погоду пользовались для этого облаками, печатая на них последние новости. Некоторые, умирая, просили, чтобы весть о их смерти была напечатана на облаках. В праздники устраивалась «живопись пальбой». Снарядами разноцветного дыма стреляли в разные точки неба. Например, глаза – вспышкой синего дыма, губы – выстрелом алого дыма, волосы – серебряного. Среди безоблачной синевы неба знакомое лицо, вдруг выступившее на небе, означало чествование населением своего вождя.

Земледелие

Пахарь в облаках

Весною можно было видеть, как два облакохода, ползая мухами по сонной щеке облаков, трудолюбиво боронили поля, вспахивая землю прикрепленными к ним боронами. Иногда небоходы скрывались. Когда туча скрывала их из виду, казалось, что борону

везут трудолюбивые облака, запряженные в ярмо как вола. Позднее неболеты пролетали как величественные лейки, спрятанные облаками, чтобы оросить пашню искусственным дождем и бросить оттуда целью потоки семян. Пахарь переселился в облака и сразу возделывал целые поля, земли всей задруги. Земли многих семей возделывались одним пахарем, закрытым весенними облаками.

Пути сообщения

Искрописьма

Подводная дорога со стеклянными стенами местами соединяла оба берега Волги. Степь еще более стала походить на море. Летом по бесконечной степи двигались сухопутные суда, бегая на колесах с помощью ветра и парусов. Грозоходы, коньки и парусные сани соединяли села. Каждый ловецкий поселок обзаводился своим полем для спуска воздушных челнов и своим приемником для лучистой беседы со всем земным шаром. Услышанные искровые голоса, поданные с другого конца земли, тотчас же печатались на тенекнигах.

Лечение глазами

Засев полей из облаков, тенекниги, сообщающие научную общину со всей звездой, паруса сухопутных судов, покрывавшие степь точно море, стены площадей, как великие учителя молодости, сильно изменили Лебедню за два года. В теневых читальнях дети сразу читали одну и ту же книгу, страница за страницей, перевертываемую перед ними человеком сзади них... В отгороженном месте получали право, жить, умирать и расти растения, птицы и черепахи. Было поставлено правилом, что ни одно животное не должно исчезнуть. Лучшие врачи нашли, что глаза живых зверей излучают особые токи, целебно действующие на душевно расстроенных людей. Врачи предписывали лечение духа простым созерцанием глаз зверей, будут ли это кроткие покорные глаза жабы, или каменный взгляд змеи, или

отважные – льва, и приписывали им такое же значение, какое настройщик имеет для расстроенных струи. Лечение глазами использовалось в таких же размерах, как теперь лечебные воды.

Деревня стала научной задругой, управляемой облачным пахарем. Крылатый творец твердо шел к общине не только людей, но и вообще живых существ земного шара.

И он услышал стук в двери своего дома крохотного кулака обезьяны.

Радио будущего

Радио будущего – главное дерево сознания – откроет ведение бесконечных задач и объединит человечество. Около главного стана Радио, этого железного замка, где тучи проводов рассыпались точно волосы, наверное будет начертана пара костей, череп и знакомая надпись: «Осторожно», ибо малейшая остановка работы Радио вызвала бы духовный обморок всей страны, временную утрату ею сознания.

Радио становится духовным солнцем страны, – великим чародеем и чарователем.

Вообразим себе главный стан Радио: в воздухе паутина путей, туча молний, то погасающих, то зажигающихся вновь, переносящихся с одного конца здания на другой. Синий шар круглой молнии, висящий в воздухе точно пугливая птица, косо протянутые снасти. Из этой точки земного шара, ежесуточно, похожие на весенний пролет птиц, разносятся стаи вестей из жизни духа. В этом потоке молнийных птиц дух будет преобладать над силой, добрый совет над угрозой.

Дела художника пера и кисти, открытия художников мысли (Мечников, Эйнштейн), вдруг переносящие человечество к новым берегам...

Советы из простого обихода будут чередоваться с статьями граждан снеговых вершин человеческого духа. Вершины волн научного моря разносятся по всей стране к местным станам Радио, чтобы в тот же день стать буквами на темных полотнах огромных книг, ростом выше домов, выросших на площадях деревень, медленно переворачивающих свои страницы.

Радиочитальни

Эти книги улиц – читальни Радио! Своими великанскими размерами обрамляют села, исполняют задачи всего человечества.

Радио решило задачу, которую не решил храм как таковой, и сделалось так же необходимым каждому селу, как теперь училище или читальня.

Задача приобщения к единой душе человечества, к единой ежесуточной духовной волне, проносящейся над страной каждый день, вполне орошающей страну дождем научных и художественных новостей, – эта задача решена Радио с помощью молнии. На громадных тeneвых книгах деревень Радио отпечатало сегодня повесть любимого писателя, статью о дробных степенях пространства, описание полетов – и новости соседних стран. Каждый читает, что ему любо. Эта книга, одна и та же для всей страны, стоит в каждой деревне, вечно в кольце читателей, строго набранная, молчаливая читальня в селах.

Но вот черным набором выступила на книгах громкая научная новость: химик X., знаменитый в узком кругу своих последователей, нашел способы приготовления мяса и хлеба из широко распространенных видов глины.

Толпа волнуется и думает: что будет?

Землетрясение, пожар, крушение в течение суток будут печатаны на книгах Радио... Вся страна будет покрыта станами Радио...

Радиоаудитории

Железный рот самогласа пойманную и переданную ему зыбь молнии превратил в громкую разговорную речь, в пение и человеческое слово.

Все село собралось слушать.

Из уст железной трубы громко несутся новости дня, дела власти, вести о погоде, вести из бурной жизни столиц.

Кажется, что какой-то великан читает великанскую книгу дня. Но это железный чтец, это железный рот самогласа; сурово и четко сообщает он новости утра, посланные в это село маяком главного стана Радио. Но что это? Откуда этот поток, это наводнение всей страны неземным пением, ударом крыл, свистом и цоканием и целым серебряным потоком дивных безумных колокольчиков, хлынувших оттуда, где нас нет, вместе с детским пением и шумом крыл?

На каждую сельскую площадь страны льются эти голоса, этот серебряный ливень. Дивные серебряные бубенчики, вместе со свистом, хлынули сверху. Может быть, небесные звуки – духи – низко пролетели над хаткой. Нет...

Мусоргский будущего дает всенародный вечер своего творчества, опираясь на приборы Радио в просторном помещении от Владивостока до Балтики, под голубыми стенами неба... В этот вечер ворожа людьми, причащая их своей душе, а завтра обыкновенный смертный! Он, художник, околдовал свою страну; дал ей пение моря и свист ветра! Каждую деревню и каждую лачугу посетят божественные свисты и вся сладкая нега звуков.

Радио и выставки

Почему около громадных огненных полотен Радио, что встали как книги великанов, толпятся сегодня люди отдаленной деревни? Это Радио разослало по своим приборам цветные тени, чтобы сделать всю страну и каждую деревню участницей выставки художественных холстов далекой столицы. Выставка перенесена световыми ударами и повторена в тысячи зеркал по всем станам Радио. Если раньше Радио было мировым слухом, теперь оно глаза, для которых нет расстояния. Главный маяк Радио послал свои лучи, и Московская выставка холстов лучших художников расцвела на страницах книг читален каждой деревни огромной страны, посетив каждую населенную точку.

Радиоклубы

Подойдем ближе... Гордые небоскребы, тонущие в облаках; игра в шахматы двух людей, находящихся на противоположных точках земного шара, оживленная беседа человека в Америке с человеком в Европе... Вот потемнели читальни; и вдруг донеслась далекая песня певца, железными горлами Радио бросило лучи этой песни своим железным певцам: пой, железо! И к слову, выношенному в тиши и одиночестве, к его бьющим ключам, причастилась вся страна.

Покорнее, чем струны, под пальцами скрипача, железные приборы Радио будут говорить и петь, повинувшись ее волевым ударам.

В каждом селе будут приборы слуха и железного голоса для одного чувства и железные глаза для другого.

Великий чародей

И вот научились передавать вкусовые ощущения – к простому, грубому, хотя и здоровому, обеду Радио бросит лучами вкусовой сон, призрак совершенно других вкусовых ощущений.

Люди будут пить воду, но им покажется, что перед ними вино. Сытый и простой обед оденет личину роскошного пира... Это даст Радио еще большую власть над сознанием страны...

Даже запахи будут в будущем покорны воле Радио: глубокой зимой медовый запах липы, смешанный с запахом снега, будет настоящим подарком Радио стране.

Современные врачи лечат внушением на расстоянии по проволоке. Радио будущего сумеет выступить и в качестве врача, исцеляющего без лекарства.

И далее:

Известно, что некоторые звуки, как «ля» и «си», поднимают мышечную способность, иногда в шестьдесят четыре раза, сгущая ее на некоторый промежуток времени. В дни обострения труда, летней страды, постройки больших зданий эти звуки будут рассылаться Радио по всей стране, на много раз подымая ее силу. И наконец – в руки Радио переходит постановка народного образования. Верховный совет наук будет рассылать уроки и чтение для всех училищ страны – как высших, так и низших.

Учитель будет только спутником во время этих чтений. Ежедневные перелеты уроков и учебников по небу в сельские училища страны, объединение ее сознания в единой воле.

Так Радио скует непрерывные звенья мировой души и сольет человечество.

Утес из будущего

Люди сидят и ходят, скрытые в пятнах слепых лучей светлыми облаками лучевого молчания, лучевой тишины.

Некоторые сидят на высоте, на воздухе, в невесомых креслах. Иногда заняты живописью, мажут кисточкой. Общества других носят круглые стеклянные полы и столы.

Другие шагают по воздуху, опираясь на посох, или бегают по воздушному снегу, по облачному насту на лыжах времени; большая дорога для ходьбы по воздуху, большак для толп небесных пешеходов, проходит над осями низких башен для скрученной в катушки молнии. По тропинке отсутствия веса ходят люди точно по невидимому мосту. С обеих сторон обрыв в пропасть падения; черная земная черта указывает дорогу.

Точно змея, плывущая по морю, высоко поднявшая свою голову, по воздуху грудью плывет здание, похожее на перевернутое Гэ. Летучая змея здания. Оно нарастает как ледяная гора в северном море.

Прямой стеклянный утес отвесной улицы хат, углом стоящий в воздухе, одетый ветром – лебедь этих времен.

На крылечках здания сидят люди – боги спокойной мысли.

– Второе море сегодня безоблачно.

– Да! Великий учитель равенства, второе море над нами, нужно поднять руку, чтобы показать на него. Оно потушило пожар государств, лишь только к нему был приставлен рукав насоса, пожарной кишки. Это было очень трудно в свое время сделать.

Это была великая заслуга второго моря! В знак благодарности, вечно на одном из облаков отпечатано лицо человека, точно открытка знакомому другу.

– Борьба островов с сушей, бедной морем, окончилась. Мы равны морем, заметив его над головой. Но мы не были зорки. Песок глупости засыпал нас курганами.

Я сейчас курю восхитительную мысль с обаятельным запахом. Ее смолистая нега окутала мой разум точно простыней.

Именно мы не должны забывать про нравственный долг человека перед гражданами, населяющими его тело. Эту сложную звезду из

костей.

Правительство этих граждан, человеческое сознание, не должно забывать, что счастье человека есть мешок песчинок счастья его подданных. Будем помнить, что каждый волосок человека – небоскреб, откуда из окон смотрят на солнце тысячи Саш и Маш. Опустим свой мир сваями в прошлое.

Вот почему иногда просто снять рубашку или выкупаться в ручье весной дает больше счастья, чем стать самым великим человеком на земле. Снять одежды – понежиться на морском песке, снова вернуть убежавшее солнце – это значит дать день искусственной ночи своего государства; перестроить струны государства, большого ящика звенящих проволок, по звукам солнечного лада.

Не надо быть Аракчеевым по отношению к гражданам своего собственного тела. Не бойтесь лежать голыми в море солнца. Разденем тело и наши города. Дадим им стеклянные латы от стрел мороза.

С другой стороны:

– С вами спички еды?

– Давайте, закурим снедать.

– Сладкий дым? Клейма Гзи-Гзи?

– Да, они дальнего происхождения из материка А.

Превосходный съедобный дым, очаровательны голубые пятна неба, тихая звездочка, в одиноком споре спорящая с синим днем.

Прекрасны тела, освобожденные из темниц одежд. В них голубая заря борется с молочной.

Впрочем, уравнение человеческого счастья было решено и найдено только тогда, когда поняли, что оно вьется слабым хмелем около ствола мирового. Слышать шелест рагоз, узнавать глаза и душу своего знакомого в морском раке, вбок убегающем, с поднятой клешней, не забывая военного устава, – часто дает большее счастье, чем все, что делает славу и громкое имя, например, полководца.

Счастье людей – вторичный звук; оно вьется, обращается около основного звука мирового.

Оно – слабый месяц около земель вокруг солнца, коровьих глаз нежного котенка, скребущего за ухом, весенней мать-мачехи, плеска волн моря.

Здесь основные звуки счастья, его мудрые отцы, дрожащая железная палочка раньше семи голосов. Проще говоря, ось вращения. Вот почему городские дети в разлуке с природой всегда несчастливы, а сельским оно знакомо и неразлучно, как своя тень.

Человек отнял поверхность земного шара у мудрой общины зверей и растений и стал одинок: ему не с кем играть в пятнашки и жмурки; в пустом покое темнота небытия кругом, нет игры, нет товарищей. С кем ему баловаться? Кругом пустое нет. Изгнанные из туловищ души зверей бросились в него и населили своим законом его степи.

Построили в сердце звериные города.

Казалось, человек захлебнется в углероде себя.

Его счастье было печатный станок, в котором для счета не хватало знаков многих чисел, двоек, троек; и прекрасная задача без этих чисел не могла быть написана. Их уносили с собой в могилу уходящие звери, личные числа своего вида.

Целые части счета счастья исчезали, как вырванные страницы рукописи. Грозил сумрак.

Но свершилось чудо: храбрые умы разбудили в серой святой глине, пластами покрывавшей землю, спящую ее душу хлеба и мяса. Земля стала съедобной, каждый овраг стал обеденным столом. Зверям и растениям было возвращено право на жизнь, прекрасный подарок.

И мы снова счастливы: вот лев спит у меня на коленях, и теперь я курю мой воздушный обед.

Закон множеств царил в этой бочке сельдей больших городов. Туго набитая человеческая селедка принимала очертания своих соседей. Сосед давил соседа в этом могучем бочонке, полном небоскребов, и на боку одной сельди, быстро носившейся с бумагами по городу, выдавливалась худая с острой хищной челюстью голова ее соседа.

Я узнавал своих знакомых, выдавленных под мышками быстро пробежавшего молодого человека: там они ухитрились отпечатать свои лица. И вообразите: на одной пятке оказалось отпечатанным лицо одной прехорошенькой девушки. Не удивительно, что я любил идти сзади и следить за мелькающей пяткой и смеющейся головкой девушки на ней. Итак, закон бочонка работал над населением города, туго набитого духовными селедками *a* зелеными вытянутыми лицами

и впальми глазами. Странное дело: туловища этих людей торопились, спешили по улицам, бегали по делам, в то время как рядом громадно и неподвижно, с мертво-раскрытым ртом, лежали их души страшной тяжестью, оправдывая слова одного мудреца: «Не надо светописца, не надо художника там, где теснота: роковым образом вы оставите ваше лицо в его зрачках, на голенище его сапог, на рукаве локтя. Это зовется законом сельди больших городов». Но вообразите прекрасный лоб мыслителя, узнающего свое лицо на пятке пробегающего мальчишки!

Он остановится в недоумении на углу улицы и долго будет махать палкой! На большие здания, с золотыми прямоугольными ночными очами, надвигался первобытный лес другой правды. Дикий, прекрасный лес новых видений надвигался на человечество, лес сновидений, недоступный старому железу. Уравнения нравов, уравнения смерти, сверкающим почерком висели в воздухе среди больших улиц. Скитаться среди огромных стволов. Хвататься за невидимые суки воздушных деревьев, вставших среди города. Одиноким зверем в множестве листьев скользить среди стволов второго мира, дремучей чащей обступившего первый. Люди стали хитры и осторожны и, бессильные победить судьбы всего мира, стали относиться к ней как к мертвой природе.

Грибок жрецов, ведущих куда-то милостью чисел по закону рождения, быстро опутывал человечество, и слова их проповеди звучали набатом дальнего пылающего храма. Шест сетки был у меня. «Хорошо! – подумал я, – теперь я одинокий игрок, а остальные – весь большой ночной город, пылающий огнями, – зрители. Но будет время, когда я буду единственным зрителем, а вы – лицедеями». – Эти бесконечные толпы города я – подчиню своей воле. Волнующий разум материка, как победитель, выезжающий из тупиков наречий, победа глаза над слухом, вихрь мировой живописи и чистого звука, уже связавший в один узел глаза и уши материка, и дружба зелено-черных китайских лубков и миловидных китаянок с тонкими бровями, всегда похожих на громадных мотыльков, с тенями Италии на одной и той же пасмурной стене городской комнаты, и ногти, любовно холимые славянкой, все говорило: час близок!

Недаром пришли эти божества – мотыльки Востока с кроткими птичьими глазами на свидание с небесными лицами Италии. Вернее –

это черные мотыльки уселись на белые цветы лица. Золотые луковицы соборов, приседая на голубых стенах, косым столбняком рушились и падали в пропасть. Колокольни с высокими просветами клонились как перешибленный палкой и вдруг согнувшийся и схватившийся за живот человек или сломанный в нескольких местах колос.

Это сквозь живопись прошла буря; позднее она пройдет сквозь жизнь, и много поломится колоколен. Я простилая с художником и ушел.

Лысый мерин через синее прясло глядит – хорошо, а? Так на море во время учебной стрельбы сначала блестит огонь, потом доносятся раскаты выстрела и наконец, долго спустя, подымается столб воды – весть того, что ядро долетело.

– Ну, что же это? что же это? – воскликнула Бэзи, хлопнув в ладоши. – Боже, как гупо! боже, как гупо! В самом деле на Западе северные откосы Монблана, с большого плоскогорья черным потоком камней ринувшиеся вниз, а выше – стеной подымавшиеся по отвесу, были искажены в суровой красоте столетних сосен правильным очерком человеческой головы. Как мухи, в вышине неба жужжали летчики, и сурковые тени в черных пятнах собрались на нахмуренный лоб пророка и черные, спрятанные под нависшими бровями глаза, похожие на чаши с черной водой. Это была голова Гаяваты, высеченная на северных склонах Монблана, вырезанная ножом великана художника.

В знак единства человеческого рода Новый свет поставил этот камень на утесах старого материка, а взамен этого, как подарок Старого света, одна из отвесных стен Анд была украшена головой Зардушта.

Голова божественного учителя была вырублена так, что ледники казались белой бородой и волосами древнего учителя, струясь снежными нитями.

– Этой каменной живописи натянуты паруса взаимности между обоими материками, – заметил Смурд.

– Паруса из множества людских сердец.

– Не правда ли, хороши эти пласты острого каменного угля, обработанные в черные глаза пророка? Говорят, что пастухи по ночам жгут из пламенной руды свои голубые костры, и тогда его глаза

блещут гневом. Между тем столетние сосны были раскинуты на разных высотах лица.

– Боже, как глупо! Зачем портить природу? – недоумевала Бэзи.

– Если горы вторят гулким раскатом, отчего не искать каменных созвучий лицу?

– Друзья, знаете что, проведемте ночь на поверхности сурового глаза Гаяваты! Едва заметная тропинка ведет к нему.

– Я согласна! Ура, за мною бегом! – Этот голос был Бэзи. Но уже с третьего шага молодая девушка присела и произнесла: – Здесь чертовски острые камни. Я не понимаю, как можно идти? Разве стать козой? Что делать?

– Нет, нет, мы провели бы ночь как боги сумрака там наверху! Каменные терновники гор в уме мы бы венцами возложили на седые и черные кудри.

– Я полагаю, что хороший ужин внизу стоит воображаемых богов в воображаемых кудрях.

– Внизу есть сливки!

– Целый кувшин сливок.

– И чай, дивный золотой чай, старого душистого настоя! Что делать?

– И все же, и все же – вперед!

– Когда взойдет солнце, мы огласим горы древними криками и предложим святому бычка. – Закури солнце!

– Молодые боги, не слишком ли тяжелая участь – мерзнуть и дрожать? – А там внизу настоящие сливки.

– Зашейте рты!

– На чем ты сидишь?

– На мертвце. Он шел, боясь смерти, и умер.

Высокомерно пышны щеки дитяти. Мать печальна. Угол здания каменного зверя спереди, – воздуха сзади вонзен в толпу. Дом этот – лоб слона.

Трубы незримых голосов приклеены к нему, как свернутые рукописи ученого, идущего учить.

Три черных знака Е, И, Т чернеют голосом другой воли. Т, упав на развалины, темнее воли, как листья других столетий.

Завитки улитки, кривые близорукие глазки слона на доске лица, яйцевидной стены здания. Плачет ли оно? Окон ливень, жилой

водопад.

Ножик плоскостей, чешуйчатое пространство. Панцирь досок залит дождем теней.

Толпы или прямоугольные глыбы?

Лезут, тянутся, громоздятся.

На сером рубле подпись казначея – это подпись месяца.

Дикий запорожец-свет разрубил на камни ночные облака, или юноша из ряда серых плоскостей склонен трудолюбиво над рукописью?

Но там, за облаками, как увядший осенний лист, изгрызенный червями, лице. – Одетый одеждою площадей. Город встал и несет рукопись.

Мне понятно только первое слово из его свертка.

А на ремнях, на горбу пустой и дикий небоскреб темнеет мертвыми дырами окон, точно ранец.

Город съеден червями окон, как осени лист.

[1914–1915]

Комментарии

Автобиографическая заметка*

Велимир (Виктор Владимирович) Хлебников родился 9 ноября 1885 г. в Черноярском уезде Астраханской степи среди калмыков-кочевников, исповедовавших ламаизм.

Сигай – Каспий.

«Пусть на могильной плите прочтут...»*

Галилейская любовь – любовь как идеальное начало общественных отношений (от «галилеянин» – Христос).

Разрез яйца – эллипс.

Курган Святогора*

Славобич и *славоба* – «писатель» и «литература», *идутое* – будущее, *доломерие* – геометрия, *умнечество* – интеллигенция.

Дебло (сербско-хорв.) – ствол.

Емлет – здесь: имеет.

Навий свет (от др. рус. «навь» – мертвец) – тот свет.

Велик-день (Подражание Гоголю)*

Велик-день – украинское и белорусское название праздника Пасхи.

Хустка – платок.

Кирея – верхний кафтан со, стоячим воротом.

«*Богородица*» – капюшон.

Око (Орочонская повесть)*

Око́ – женская грудь.

Жители гор*

Острица Яков – гетман, один из руководителей восстания 1638 г. против польского владычества.

Дни Грюнвальда – разгром немецкого Тевтонского ордена 15 июля 1410 г. польско-литовско-русской армией.

Гачи (укр.) – штаны.

Солодка – подруга.

Лота – жердь.

«Коля был красивый мальчик...»*

Коля – Николай Николаевич Рябчевский (1896–1920), двоюродный брат Хлебникова, талантливый скрипач и начинающий композитор.

Охотник Уса-гали*

Витючень – вид голубя.

Здравствуй! Долженствующие умереть... – приветствие, с которым гладиаторы обращались к цезарю.

Николай*

Бударка – небольшая рыбацкая лодка.

Местный листок – газета «Астраханский листок».

Год Черной Смерти – эпидемия чумы.

Закаленное сердце*

Стой, влаше, ми те заполим (серб.) – издевательское обращение турка к православному: «стой, влаши, мы тебе отрубим голову». Здесь герой рассказа, стреляя в турка, возвращает ему это выражение.

Беременный человек – семантический сдвиг: человек (серб, «човек, чоек») – мужчина.

Страхич – боязливый человек.

Детич – мальчик, молодец.

Струка – накидка, плед.

Тяжко мясу без мяса, – черногорская пословица.

Пушка – ружье.

Ка*

Ка – в египетской мифологии один из элементов человеческой сущности, жизненная сила, второе «я».

Дни Белого Китая – в буддийской мифологии утопическая идеальная эра, соответствующая третьему мировому периоду и

связанная с грядущим буддой Майтреей, сидящим на тропе из белого лотоса.

Андрэ С. А. (1854–1897) – шведский инженер, исследователь Арктики, погиб во время экспедиции на воздушном шаре к Северному полюсу.

Маср – название Египта у древних евреев.

Хреновский завод – конный завод в с. Хренове Воронежской губ., основанный в 1778 г. графом А. Орловым.

АСЦУ – словообраз, аббревиатура, обозначающий Евразию.

Нефер-Хенру-Ра – одно из имен фараона Аменхотепа IV (Эхпатона).

Сух, Мневис, Бенну – в египетской мифологии божества в виде змеи, черного быка и цапли.

Хапи – Нил.

Шеш – тень.

Акбар Джелаль-ад-дин (1542–1605) – правитель Могольской империи в Индии.

Асока (Ашока) – правитель древнеиндийской Магадхской империи.

Сикорский – тип самолета конструкции И. И. Сикорского (1889–1972).

Гаура – одно из имен жены бога Шивы.

Виджая – имя мифического царя, первого арийского завоевателя острова Цейлон.

Дождевик – дождевой червь.

Число шесть три раза – т. с. 666, «звериное число» из Апокалипсиса.

Масих-аль-Деджал – в мусульманской мифологии искуситель, соответствующий Антихристу.

Фатьма Мепнеда – персидская княжна, утопленная, по легенде, Степаном Разиным.

Кончар – восточный и древне-русский меч с узким лезвием.

Пернач – вид булавы.

Эдды – канонизированный свод древнескандинавской поэзии.

Монтезума (Монтесума) (1466–1520) – правитель ацтеков, был захвачен в плен испанским конкистадором Э. Кортесом; призывал покориться испанцам, за что был убит восставшими индейцами.

Богиня Изанага – Изанаги (Идзанаги) и Идзанами – высшие небесные боги в японской мифологии.

Паслен – род трав, кустарников.

Ганнон Мореплаватель – карфагенский флотоводец VII–VI вв. до и. а., совершивший плавание вдоль зап. берега Африки.

Гатчепсут (Гатшотситу) – царица Египта (XV в. до н. э.).

Саки – в античных источниках племя скифов, составлявших отряды в персидском войске.

Моа – крупная нелетающая птица, обитавшая в Новой Зеландии и истребленная в середине XIX в.

Venus – Венера.

Анх сепна Атен (Анх-сеп-Атон) – одна из дочерей Эхнатона.

Хут Атен – название столицы Эхнатона.

Водяной конь – вынь.

Ушетти (ушебти) – статуэтки, заместители умерших в загробном мире.

Ромету – люди.

Гатор (Хатхор) – богиня неба с головой коровы, родившая солнце.

Себек – бог воды и разлива Нила с головой крокодила.

Рабису – наместник.

Львова Н. Г. (1891–1913) – поэтесса, близкая к символистским кругам и к эгофутуристической группе «Мезонин поэзии».

Дидова хата – название поселка в районе Бугского лимана, где в древности жили скифы.

Абракадаспа – печать.

Скуфья скифа (Мистерия)*

Числовое – вымышленное Хлебниковым божество, двойник поэта.

Стрибог – языческий бог воздушных стихий.

Лелека – аист.

Падага – божество у балтийских славян; у Хлебникова букв.: «подательница блага»

Жерлянка – вид жаб.

Журавика – клюква.

Праг – пирог.

Беспроволока – радио, телеграф.

Письмо двум японцам*

Гауризанкар – одна из вершин Гималаев.

Верещагин В. В. (1842–1904) русский художник, один из первых осознал значение японской традиции в мировой культуре.

Ронин (япон.) – самурай.

Даяки – группа народов Индонезии.

«Нужно ли начинать рассказ с детства?..»*

Племя волгуруссов – речь идет о великорусах.

Великая степь – калмыцкая или Астраханская степь.

Море Китая затеряло... капли-станы – метафора подразумевает Джунгарию, прародину калмыков.

Мин – возможно, царь богов в древнеегипетской мифологии.

Старший брат – Б. В. Хлебников (1883–1906).

Бражник – вид бабочки.

Октябрь на Неве*

Газета «Заем Свободы» – однодневная газета Союза деятелей искусств «Во имя свободы».

Гурризм эль-Айн – (Куррат-аль-Айн) – ученица и сподвижница реформатора исламизма мирзы Али Муххамеда Баба.

Книга мертвых – условное название памятника древнеегипетской священной литературы.

У садика Ломоносова – сад перед Московским университетом.

Астраханская Джиоконда*

Похищена... безумным поклонником – в 1911 г. портрет Моны Лизы («Джоконды») Леонардо да Винчи был похищен итальянцем, якобы из патриотических чувств, в 1913 г. она была возвращена в Лувр.

У Астрахани... своя *Джиоконда* – речь идет о картине Леонардо да Винчи «Мадонна с цветком» (т. наз. «Мадонна Бенуа»).

Раскопана... художником Бенуа – архитектор Л. Н. Бенуа (1856–1928) был зятем купца-коллекционера А. П. Сапожникова, владельца картины. В 1913 г. было окончательно установлено, что она

принадлежит кисти Леонардо да Винчи, и картина была приобретена Эрмитажем.

Художники мира!*

Хата (др. егип. хут) – дом, храм.

Есир*

Есир (ясыр) – повольник, раб.

Кулалы – бесплодный остров на севере Каспия.

Кокот (обл.) – рыболовный крюк.

Махалка – хвост рыбы.

Кутум – рукав Волги.

Саваджи (Шиваджи; 1027 или 1030–1680) – основатель марахского государства в Индии, национальный герой мратхов, возглавивший борьбу против Великих Моголов.

Аурензипп (Аурангзеб) (1618–1707) – правитель Могольской империи в Индия.

Нанак (1469–1539) – индийский философ, поэт, основатель общины сикхов, первый вероучитель (гуру), проповедовал монотеизм.

Кабир (ок. 1440 – ок. 1518) – индийский поэт, проповедник учения бхакти, провозгласившего равенство людей перед Богом.

Говинд (1607–1708),

Тег Бохадур (XVII в.) – имена вероучителей (гуру) сикхов.

Чанг-Гиент-шонг (правильно: Джан-сянь-чжун – 1606–1647) – один из руководителей крестьянской войны (1628–1645) в Китае.

Галай-гала-яма (или Сака-Вати-Галагалайама) – возможно, бог Яма, владыка царства мертвых.

Кала-Гамза – букв.: «гусь (или лебеди) времени», здесь: символ, олицетворение времени.

Видела жаба... – украинская пословица.

Сюмер-ула – в буддийской мифологии гора Сумеру (Меру), стоящая в центре мира и наполовину скрытая под водой.

Окын-Тенгри (Охин-тенгри) – богиня ламаистского пантеона.

Кали – супруга бога Шивы; изображается пл. обр. в грозном, устрашающем виде.

Майя – в ведийской мифологии иллюзия, обман.

Брахма – в индуистской мифологии один из трех высших богов, творец мира.

Всем! Всем! Всем!*

Через 3 дней и через 2 дней – согласно «закону времени», событие через 3 дней превращается в противособытие, т. е. победа сменяется поражением, а через 2 дней – положительный сдвиг, событие «усиливает свои числа».

Богадельня глупости (Дизраэли) – поэт, вероятно, имеет в виду колониальную политику Англии периода 1870–1880 гг., когда премьер-министром был Б. Дизраэли (1804–1881).

Малиновая шашка*

«Коте мой сырый...» – цитата из украинской колыбельной песни.
В глухую усадьбу – усадьба сестер Синяковых в Красной Поляне под Харьковом.

П. – Петровский Д. В. (1892–1955) – поэт, близкий к футуристам.

Барышня Смерть – героиня пьесы Хлебникова «Ошибка Смерти».

Спартакowцы – члены «Союза Спартака», входившего до конца 1918 г. в состав Независимой социал-демократической партии Германии.

Плахта (укр.) – кусок узорчатой домотканой материи, используемый в качестве юбки.

Четники (сербско-хорв.) – воины; здесь партизаны.

Перед войной*

Самокат опоясал... – подразумевается поездка в автомобиле.

Ворота Славы – Триумфальная арка, находилась у Тверской заставы.

Ветка вербы*

День вербы – вербное воскресенье 1922 г. приходилось на 26 марта.

Кучук-хан – Ага-Мирза (1880/1881-1921) и *Он, спаливший дворец...* – вождь персидских партизан «дженгелийцев», боровшихся против шаха. Заключил временный союз с Гилянским

правительством, но в сентябре 1921 г. предал и сжег руководителей республики.

Туман (перс.) – золотая монета.

Кол из будущего*

Прошлецы – люди прошлого, так именует автор своих современников, противопоставляя их *будрым* – будущим, бодрым.

Собор Воронихина – Казанский собор в Петербурге, возведенный русским художником А. Н. Воронихиным (1759–1814) в начале прошлого века.

Улочертог, избоул – неологизмы из слов улица, чертог, изба.

Измайлов А. А. (1873–1921) – литературный критик, противник модернизма и футуризма.

notes

Примечания

1

В первопечатном источнике дефект – опущено окончание фразы.

2

В первопечатном источнике дефект – отсутствует конец фразы.